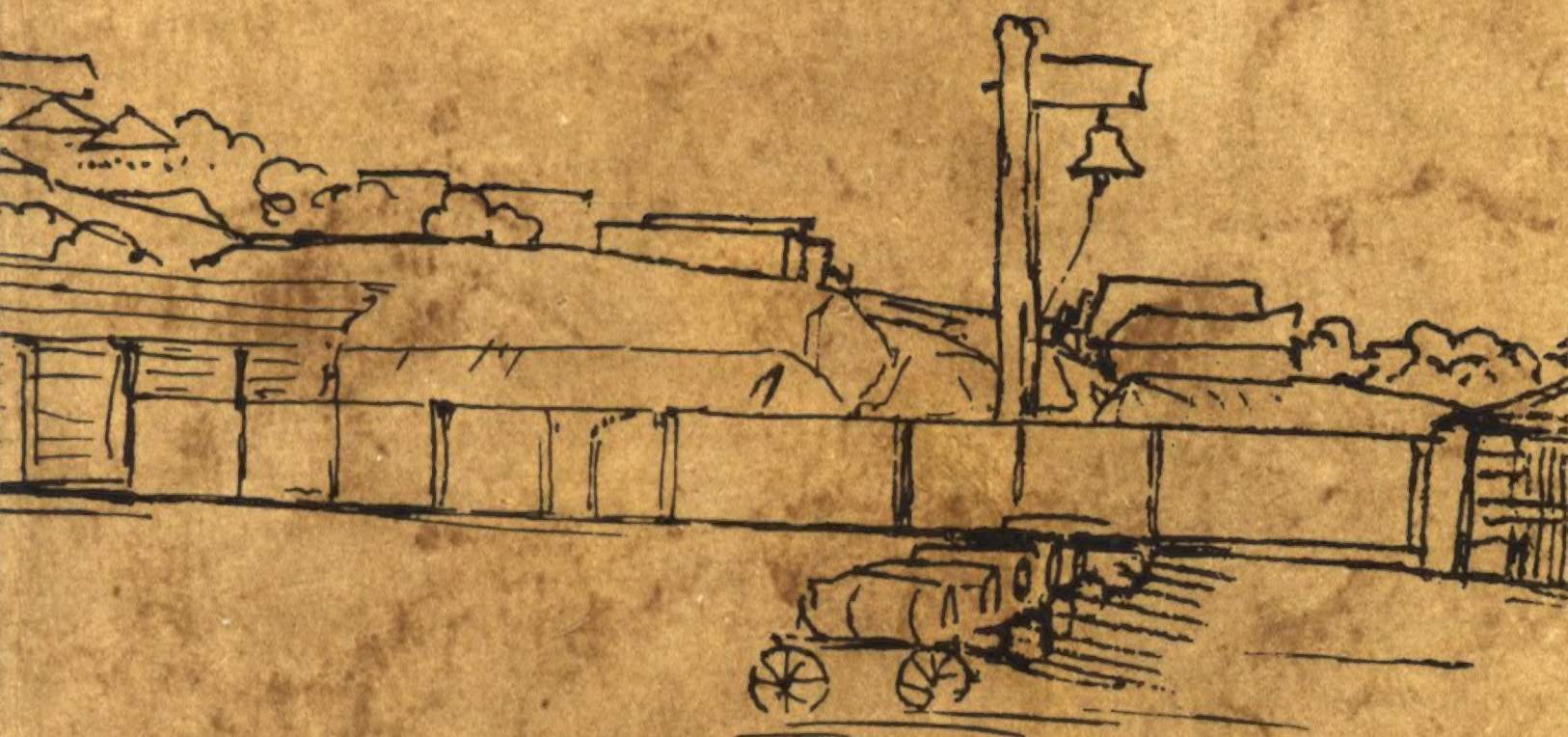


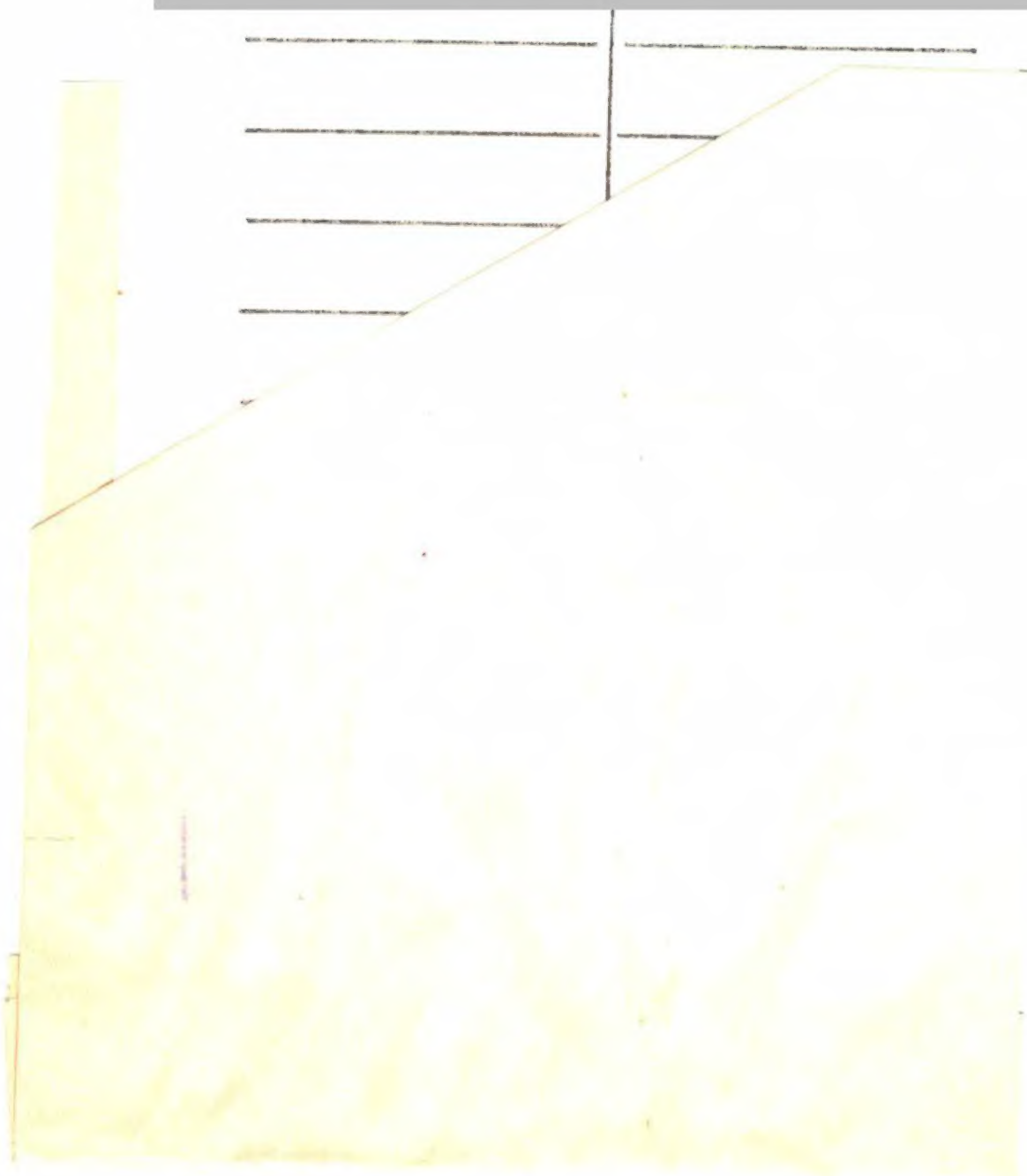
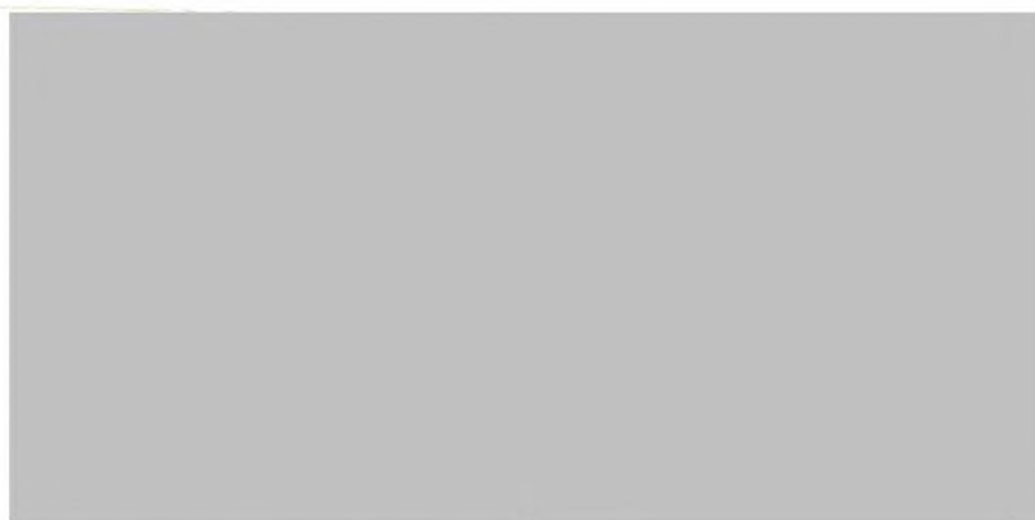
Ю. Курочкин

УРАЛЬСКИЕ НАХОДКИ

22
12
17







Ю. КУРОЧКИН

УРАЛЬСКИЕ НАХОДКИ

КЛАДЫ БАБУШКИНЫХ
СУНДУКОВ

ПОД ЗНАКОМ ЗОЛОТОГО
КЛЮЧА

ВОКРУГ МАМИНА

ЗАБЫТАЯ ДРУЖБА

РЕКОНСТРУКЦИЯ ОДНОЙ СУДЬБЫ

ДЕЛО ЛИПРАНДИ

ПРИКЛЮЧЕНИЯ «МАДОННЫ»

УРАЛЬСКИЙ ВОЯЖ ПОЭТА

Свердловск, Средне-Уральское
книжное издательство
1982

«Уральские находки» старого журналиста и увлеченного краеведа Ю. Курочкина — результат многолетнего целенаправленного поиска материалов о культурном прошлом нашего края.

Так, встреча с «бабушкиным сундуком» в одной современной семье помогла найти интересные данные о музыкальной и театральной жизни на старом Урале. Поиски в столичных и местных архивах и библиотеках принесли находки новых материалов к биографиям наших писателей-земляков Д. Н. Мамина-Сибиряка и Елизаветы Гадмер и рукописей И. П. Липранди, знавшего Пушкина в дни его южной ссылки. Найденные протоколы масонской ложи Золотого ключа в Перми привели к знакомству с кругом лиц, идейно близких делу замечательного русского просветителя Н. И. Новикова. А за рассказом об истории тагильской «Мадонны» вскрывается многовековая история приключений одного из шедевров великого мастера Возрождения Рафаэля.

Итогом глубинного поиска является и рассказ о путешествии по Уралу в 1837 году поэта В. А. Жуковского.



К $\frac{20904-037}{M158(03)-82}$ 5000000000



КЛАДЫ БАБУШКИНЫХ СУНДУКОВ

Бабушкин сундук... Не обязательно, конечно, именно сундук — этот ныне уже забытый в обиходе ящик, окованный полосками «мороженого» железа и снабженный внутренним замком с мелодичным звоном. Сундуком может быть и плетенная в прошлом веке корзина из ивовых прутьев, и овальный фанерный баул времен первых пятилеток, и старинная резная шкатулка с картинками на внутренней стороне крышки, и даже какой-нибудь жестяной ларец из-под леденцов с непонятной надписью «Ландрин».

И не обязательно бабушкин сундук, нередко и дедушкина шкатулка. Такие сундуки и шкатулки когда-то были почти в каждом доме, да еще и сейчас встречаются даже и в современном, высотном. С ними цепко связаны воспоминания детства — именно там жил какой-то, отличный от окружающей обстановки, мир: непонятного назначения вещи, бумаги, фотографии. Наши деды и бабки видели во всем этом что-то очень памятное и дорогое им и иногда в одиночестве, с лицом, освещенным теплой грустью, неспешно перебирали содержимое своих заветных хранилищ. А нас влекла к этим вещам лишь их необычность, непонятность их назначения, как влекло тогда к себе, в эти первые годы жизни, все, еще не познанное.

С годами интерес тускнел — огромность распахи-

вающегося перед нами мира затмевала и вытесняла простое детское любопытство, и мы уже с недоумением, а то и с пренебрежением смотрели на «сокровища» бабушкиных сундуков и великодушно извиняли сентиментальное внимание к ним милых стариков.

Но еще шли годы, мир перед нами не только расширялся, а и углублялся, обретал объемность, и приходило время, когда интерес к содержимому сундуков неожиданно возникал вновь, хотя и в другом аспекте.

...Юноша увидит в дедовой шкатулке красноармейскую звездочку времен гражданской войны, и пора эта встанет перед ним кусочком реальности, заставившей о чем-то задуматься — может быть, об эстафете поколений, о своем месте в жизни. Девушка, обнаружив в бабушкином сундуке старинный кружевной воротник, с восторгом примерит его перед зеркалом (мода, как известно, периодически возвращается на круги своя) и благодарно помянет мастерство и вкус народных мастериц прошлого. Или с волнением возьмет в руки лист плотной бумаги — давний документ, свидетельствующий о трудовых или ратных заслугах перед родиной своих дедов и прадедов. И содержимое «сундуков» вызовет чувство приобщения к Истории, ощущение Времени.

Не ко всем и не всегда, к сожалению, приходит это возвышенное и возвышающее человека чувство, тем более что и старые сундуки встречаются все реже и реже — не всегда потомки проникаются уважением к ним, нередко выбрасывая их при очередной генеральной чистке квартиры или при переезде. И мы должны быть благодарны тем, кто сумел сохранить осколки прошлого — с течением времени они становятся важными не только для истории семьи.

Однако оказывается, что сохранить старые вещи и документы — это еще не все. Надо суметь сохранить и то, что стоит за ними, — их историю и значе-

ние. Иначе они остаются немыми, если когда-то не было разузнано о них побольше, а позднее спросить стало уже некого. Тогда приходится прибегать к дополнительному дознанию, чтобы заставить заговорить вещи.

В одном из таких дознаний мне довелось принять участие.

В этот дом меня привело сходство фамилий его хозяйки и человека, которым я давно интересовался. На афишах второй половины XIX века часто упоминается капельмейстер театральных и клубных оркестров Урала Тихачек. Имени и отчества музыканта я не знал — их тогда как-то не принято было указывать, а выяснить хоть какие-то биографические данные было бы важно: мы так мало еще знаем о культурном прошлом края, о тех, кто способствовал его становлению.

Так я оказался в одном из новых домов на юго-западе Свердловска. Современная мебель, новейшей марки телевизор, телефон и прочие приметы нашего времени мирно и даже уютно соседствуют в квартире с вещами явно давнего происхождения: вольтеровским креслом, резным буфетом, инкрустированными шкафчиками, картинами в тяжелых рамах. Старое и новое тут не только не мешают одно другому, а, скорее, дополняют друг друга. В этом видится умение ценить старину и в историческом, и в бытовом смысле, не пренебрегая и тем, что дает наш комфортный век. Сочетание старого и нового здесь не дань моде, а пример естественности назначения вещей, использования их полезных качеств.

Разностильность? Нет, это тоже стиль, выражающий в век НТР преемственность старого и нового.

Хозяйка квартиры, кандидат медицинских наук Елена Сергеевна Тихачек очень органично вписыва-

ется в такой интерьер — черты современной деловой женщины тонко сочетаются с изяществом «старомодной» интеллигентности, которую с годами мы начинаем все больше ценить, понимая, что в ней сконцентрировался поведенческий опыт многих поколений.

— Да, *ваш* Тихачек, — улыбаясь говорит она, — этой мой предок. Вернее — предки: дед и прадед. Оба музыканты, оба руководили оркестрами, поэтому немудрено и спутать их, свести в одно лицо. К сожалению, я не так много знаю об их музыкальной деятельности, на роль биографа не гожусь. Но попробуем что-то выяснить по сохранившимся бумагам и семейным реликвиям...

Елена Сергеевна вынесла из другой комнаты... ну конечно же шкатулку (первую из тех многих, что потом выносились), и мы начали разбирать ее, подвергая перекрестному допросу каждую вещь или бумагу, дополняя рассказ хозяйки о семейных преданиях моими комментариями там, где это касалось истории края.

Скажем сразу, сенсационных открытий сделано не было. Но разве только ради сенсаций ведется какой-то поиск? К тому же то, что для одного сенсация, для другого лишь малоинтересный факт. А то, что мы называем мелочами, порой обретает немаловажное значение. Как, скажем, такая мелочь, как винтик, поставленный на свое место, вдруг оживляет давно бездействующий механизм, маленькое звеношко соединяет разорванную цепочку, а некий незначительный штрих завершает наконец-то незаконченный рисунок.

И таких вот несенсационных, но существенных находок оказалось вполне достаточно для того, чтобы порадоваться результатам изучения домашнего архива династии Тихачеков.

Не сразу, конечно, выстроились в стройный ряд

эти результаты, не один и не два вечера ушли на разбор содержимого шкатулок, сундуков и корзин — писем и документов, газетных и журнальных вырезок, афиш, рисунков и фотографий. Не все удалось разгадать и понять, где-то в цепочке хроники так и остались разорванные звенья, но почти все значительное и наиболее интересное, пожалуй, было ухвачено.

Первой из шкатулки была извлечена вырезка из пражской газеты, неизвестно какой, но, судя по объявлениям на обороте, от апреля 1861 года. Заметка в хронике новостей: «На Урале, в России, чешский дирижер Ян Тихачек, известный пражанам своим секстетом (оркестром из шести музыкальных инструментов.— Ю. К.), имеет большой успех. Два года назад он был приглашен в Екатеринбург и создал там оркестр из 12 музыкантов, преимущественно рабочих рудников на Сергинском заводе. Талант и настойчивость Тихачека привели к тому, что в этом русском городке сейчас не только устраиваются регулярные концерты, но он со своим небольшим оркестром совершает поездки по ярмаркам, где наряду с обилием похвал также собирает и серебряные рубли».

Серебряные рубли здесь упомянуты, конечно, как более весомое свидетельство успеха, чем обычные похвалы.

Вот, значит, как появилась на Урале династия Тихачеков, и вот как начиналась здесь карьера чешского музыканта, приехавшего в 1859 году из Праги. Возможно, вначале он и не думал переселяться сюда совсем — справка пражской школы (это уже второй документ из шкатулки) свидетельствует, что его старший сын Иосиф до 1863 года еще учился в Праге.

Что побудило чешского маэстро остаться здесь — выгодный ли контракт, привязанность ли к новому, полюбившемуся ему краю, к его людям, к делу, которое он здесь успешно начал и не хотел бросить, — кто знает. Может, этому решению способствовала и политическая обстановка на родине, в Чехии, входившей тогда в состав Австрийской империи, «лоскутной монархии», как называли ее за пестрый национальный состав. Славянским народам, насильственно включенным в это государство, жилось там нелегко в атмосфере австрийского шовинизма.

Как бы то ни было — Ян Тихачек остался в России, перевез сюда семью — жену Марию, сыновей Иосифа и Александра и дочь Марию, обрусел, стал писаться Иваном Ивановичем, хотя долгое время еще числился австрийским подданным — это давало известное преимущество при возможных конфликтах с местными властями.

Надо сказать, что в те годы в России жило и работало немало чешских музыкантов, достаточно вспомнить известного Направника. Они внесли свой заметный вклад в развитие русской культуры — ведь тогда у нас еще не было специальных музыкальных учебных заведений.

Несколько странно лишь то, что даровитый музыкант с именем, хорошо известным в одной из музыкальных столиц Европы *, оказался на каком-то малозаметном заводике Среднего Урала.

Но это он потом стал малозаметным, а в те годы, когда туда приехал Ян Тихачек, Сергинские заводы наследников купца Губина пребывали еще в богат-

* Кстати, возможно, родственник одного из выдающихся чешских вокалистов Иосифа Алоиса Тихачека (1807—1886), ведущего солиста Дрезденской оперы, друга Вагнера и первого исполнителя главных ролей в его операх.

стве и славе, а хозяева в своем стремлении к показной пышности мало в чем уступали другим промышленным магнатам края.

Хозяева... Но в том-то и дело, что юридические хозяева были еще малолетними и заводами управлял их фактический владелец, отчим «наследников Губина» Павел Ушаков. Столичный жуир, женившийся на богатой вдове, он совершенно не интересовался заводами, видя в них лишь бездонный источник доходов, которые он пускал враспыл на свои прихоти, подражая примеру Демидовых, Строгановых, Всеволожских, не считаясь с разницей масштабов состояния. Ушаков почти не появлялся на заводах, зато хотел, чтобы и на расстоянии его там чувствовали царьком.

Примечательно в этом отношении письмо Ушакова из Петербурга от 26 января 1861 года Тихачеку в Нижние Серги. «...Посылаю в Главную контору для передачи Вам полное собрание двенадцати опер... Теперь Вам остается переписать для каждого инструмента и, когда приеду на заводы, порадовать меня успехами... Все вместе мне стоит более трехсот рублей серебром, которые я приношу заводам в подарок. Надеюсь, что моя капелла... постарается оправдать эти попечения и утешит меня успехами».

Утехи, среди которых собственная капелла была лишь каплей в море несусветных трат, кончились довольно скоро и весьма печально. Не довольствуясь поступавшими от заводов средствами, Ушаков решил еще и смошенничать — заложил в банк несуществующий металл и попался на этом. Разразилось громкое дело.

Оно, кстати, послужило Д. Н. Мамину-Сибиряку одной из сюжетных основ его первого романа «Приваловские миллионы». Историю Сергинских (в романе Шатровских) заводов он использовал для

описания истории наследства Приваловых. В черновых записях к роману есть такие строки, записанные со слов старожилов: «Дело обнаружилось в Нижнем [Новгороде] в 1863 г., и Министерство финансов преследует Ушакова уголовным порядком и взыскивает убытки казны. Дело кончилось только в 1874 г. в Сенате. Ушаков обвинен в мошенничестве, лишен прав и состояния и подлежал ссылке в Сибирь, а взыскание убытков присуждено с имущества Ушакова в сумме 930 000 р.».

Но, как выясняется из дальнейших записей, влиятельный жулик сумел выкрутиться, да еще за чужой счет: «Ушаков умирает генерал-майором. Министерство переносит долг Ушакова на наследников Губиных, т. е. на их заводы, что составляет с процентами 2 миллиона». (Записи эти хранятся в фонде Д. Н. Мамина-Сибиряка в Отделе рукописей Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина.)

В этих условиях капелла Тихачека была ликвидирована одной из первых среди других утех и затей Ушакова. Капельмейстер остался не у дел.

Памяткой об этом, казавшемся вначале безоблачным, четырехлетию в архиве Яна Тихачека осталась любопытная реликвия — его музыкальное произведение, изданное в Праге Йозефом Салеком в начале 1860-х годов. Название его, совмещенное с посвящением, напечатано на фоне гравюры, тиснутой золотом на трех языках — русском, французском и чешском: *«Приветствие чеха из гор России! Полька-мазурка для фортепиано, сочиненная и посвященная почтенному соотечественнику Антону Антоновичу Лебеде в Праге Яном Тихачеком, капельмейстером на Сергиевском заводе в Уральских горах».*

Примечательна и гравюра на обложке нот: музыкант со скрипкой в руках, стоя на лесистой скале,

в пещере которой спит медведь, приветственно машет шляпой другому берегу водной глади, где видны башни и шпили Златой Праги.

Проставлен, как водится, и порядковый номер сочинения композитора — опус 8. Значит, было еще семь, но ни эти, ни последующие, к сожалению, не известны, очевидно, остались неизданными, а рукописи не сохранились. Любопытно, что и этот печатный опус вернулся в семейный архив музыканта лишь спустя шесть с лишним десятилетий и уже из другой семьи — на нотах есть дарственная надпись Н. Шушакова одному из потомков композитора, датированная 1926 годом. Музыка польки-мазурки очень живая и мелодичная, легко запоминающаяся, несомненно, пользовалась успехом в свое время, да и сейчас, наверное, привлечет внимание.

Не вызывает сомнений, что Антон Лебеда, которому посвящено сочинение, давний и близкий друг музыканта — он еще долго писал ему в Россию. Одно из его писем — на бланке редакции «Лагер альманаха», а это позволяет предположить, что журналист и литератор Лебеда был и автором заметки о Тихачеке в пражской газете — подпись Далебор, вероятнее всего, анаграмма фамилии Лебеда.

Кстати, о письмах. Их сохранилось много — в 60-х и начале 70-х годов Ян Тихачек вел оживленную переписку с пражскими родными и знакомыми. Надо думать, что в ней отразились не только семейные события, но и новости общественной жизни, небезынтересные для нас и сегодня. Но письма пока остаются немymi — для того чтобы их прочитать, надо перевести, а прежде чем перевести, предварительно расшифровать. Дело в том, что написаны-то они готической скорописью (которой тогда учили во всех австрийских школах), а ныне редко кто знаком с нею.

Итак, с Нижними Сергами, местом, которое обещало быть обетованным, но не оправдало ожиданий, пришлось расстаться. Без дела, конечно, Тихачек не остался — квалифицированных музыкантов на Урале в те годы было еще не густо.

Начался новый этап его жизни, который, будь он нам известен подробнее, дал бы новые штрихи к тому периоду музыкальной жизни края, что до сих пор остается белым пятном. Свидетельством этому — сохранившееся «Условие», то есть договор Екатеринбургского благородного собрания (местного клуба) с оркестром во главе с капельмейстером Тихачеком на обслуживание балов и концертов клуба в сезон 1863/64 г., на котором, кстати, есть пометы о его продлении до 1867 г.

Документ важен и тем, что рассказывает об условиях работы оркестра, и тем, что он донес до нашего времени фамилии его участников, семнадцати человек, чьи подписи остались на договоре — ведь это имена одних из первых у нас профессиональных музыкантов. Судя по их с трудом нацарапанным подписям и по типично уральским фамилиям, это, вероятно, и есть те самые рабочие Нижнесергинских заводов, составившие в свое время «капеллу» Тихачека.

Вот они: Матвей Шмелев, Василий Крутиков, Иван и Алексей Комаровы, Константин Ряпасов, Осип Лескин, Андрей Спирин, Василий Старостин, Осип Коробицин, Алексей Засыпкин, Василий Журавлев, Василий Полетаев, Василий Назаров, Петр Русаков, Семен Палымов, Александр Русаков, Иван Свалов.

В контракте с клубом оркестр выговорил себе право: «в великий пост музыканты освобождаются на четыре недели для поездки в Ирбит». Ежегодно оркестр отправлялся туда на ярмарку, это знамени-

тое торжище на рубеже Европы и Азии. В «Ирбитском ярмарочном листке» тех лет можно видеть сообщения, что «в гостинице «Ярославль» играет оркестр г. Тихачека из 17 человек». Ярмарочные корреспонденты различных газет с похвалой отзывались о его игре.

Однако игра на балах в клубе и в ярмарочных гостиницах едва ли могла удовлетворить серьезного музыканта. Ян Тихачек возобновил летний концертный сезон на Сергинских минеральных водах, принадлежавших губинским заводам. А при первой же возможности, в 1869 году, принял на себя руководство оркестром городского театра в Екатеринбурге, которому требовался опытный дирижер. И так поставил дело, что, как писали в газетах, «в здешний театр многие приходили единственно для того, чтобы послушать превосходную игру капельмейстера г. Тихачека».

Впрочем, он не оставил совсем и обслуживания клуба — давал и здесь концерты, участвовал в концертах заезжих гастролеров. Словом, стал как бы главным музыкантом всего Среднего Урала.

В этих же шкатулках, принесенных Еленой Сергеевной, оказались и две фотографии. Можно подумать, что на них изображен один и тот же человек — тот же покрой платья, такой же галстук, даже поза та же. И сняты в одном городке — Нижнем Новгороде, хотя и в разных фотографиях. Но вглядевшись, видишь разницу и в возрасте, а поскольку снимки, несомненно, сделаны в близкие друг другу годы, то ясно, что на них два разных лица. Это Ян Тихачек и его сын Иосиф.

Кстати сказать, на каком-то этапе восстановления семейной хроники сведения об отце и сыне так переплелись, что сейчас уже трудно разобраться, когда

о ком из них идет речь в сохранившихся бумагах. Там более что и инициалы у них схожи.

К тому времени (конец 1870 — начало 80-х гг.) Иосиф стал вполне взрослым и тоже обнаружил незаурядные музыкальные способности. Играл в театральном и клубном оркестрах, пробовал себя в качестве дирижера (а потом и утвердился в этой специальности, как бы сменив отца), давал уроки музыки, в том числе на своем любимом и редком тогда инструменте — корнет-а-пистоне.

И все-таки штрихи из биографии Иосифа Тихачека представляли бы лишь семейный интерес, если бы не сохранились в его бумагах кое-какие документы и материалы, интересные и в более широком аспекте.

Вот, скажем, письма Михаила Александровича Завадского — актера, режиссера и антрепренера, широко известного в театральном мире последней четверти XIX века. Неумолимое время оставило нам очень мало данных о нем — несколько скупых строк в мемуарной литературе и в примечаниях к некоторым театроведческим трудам. Между тем это был незаурядный актер и безусловно интересный человек. Уроженец Польши, он учился у знаменитого музыканта и композитора Монюшко, но стал не музыкантом, а актером, особенно популярным в опереттах и водевилях. Завадский объехал почти всю страну, служил в десятках антреприз, пробовал и сам антрепренерствовать, но неудачно (не имел коммерческой жилки). Несколько лет служил в Екатеринбурге, один сезон держал здесь антрепризу (и потом долго расплачивался с долгами), где и подружился с музыкантом театрального оркестра Иосифом Тихачеком.

В письмах своих Завадский предстает перед нами веселым и общительным человеком, добродушным

неунывакой, хотя роз на его пути было гораздо меньше, чем терниев. Невеселые театральные новости и черты неуютного актерского быта в его изложении окрашены незлобивым юмором, снисходительной терпимостью много повидавшего человека, не потерявшего во всех жизненных передрягах чувства собственного достоинства, верности избранному делу, светлого взгляда на жизнь.

Так, в письме Иосифу Прекрасному (как он именовал друга) из Перми, где Завадский летом 1878 года заканчивал свою неудачную уральскую антрепризу, он подтрунивает над свалившимися невзгодами, вызванными неумением «аршинничать» и потрафлять всеядной публике. А в ноябре следующего года, когда он уже служил в Самаре у какого-то антрепренера-кулака, с юмором описывает конфликты с этим «оболтусом», «болваном неотесанным» и «невеждой, который смотрит на артистов как на поденщиков» и завалил его, Завадского, ролями и трагиков, и злодеев, и резонеров, и даже... любовников (при его-то толщине!).

И лишь изредка вздохнет о «собачьей актерской судьбе». Но тут же он добродушно острит над Прекрасным Иосифом в связи с его женитьбой на дочери богатого купца Дмитриева: «Хотел бы я посмотреть, как ты аршинничаешь», предполагая, что невеста принесла в приданое и часть купеческих капиталов. Лишь позднее он мог узнать, что купеческая-то дочка вышла за бедного музыканта «убегом», без согласия родителей и, значит, без их капиталов. Однако *поаршинничать* Тихачекам все же довелось. Правда, на свой лад, не по-обычному: они взяли на себя аренду Нижнесергинских минеральных вод. Этот, кажется, тогда единственный и, несомненно, старейший уральский курорт, открытый еще в конце 1820-х годов, был собственностью губинских заво-

дов, потому что располагался на принадлежавших ему землях. С годами он становился все популярнее, на воды приезжало все больше публики из разных мест Урала. Появилась необходимость в развлечениях для нее, в том числе понадобилась, конечно, музыка — по примеру заграничных курортов, ежедневные концерты в курзале. Они привлекали не только больных, но и тех, кто хотел летом просто отдохнуть. А это множило доходы хозяев. Вполне вероятно, что именно для организации таких концертов хозяева заводов и пригласили опытного музыканта из Праги.

В конце 1870-х годов, когда обнищавшие после ушаковских афер заводы дышали на ладан, курорт, по сути дела, остался беспризорным. Тогда-то Тихачеки и взяли на себя его аренду, чтобы не остаться самим без дела на лето и сохранить работу музыкантам оркестра, с которыми так прочно связала судьба. Конечно, для заведования лечебно-медицинской частью был приглашен врач, для ведения хозяйства — опытный приказчик, а Тихачеки занимались лишь организацией и руководством концертов. Как сообщала сохранившаяся афиша 1888 года, «В курзале в продолжение всего сезона (с 1 июня по 15 августа) ежедневно по вечерам играет оркестр бальной музыки под управлением г. Тихачека».

Серьезно поставленная концертная программа привлекала многих любителей музыки, сюда ездили как на абонементный сезон, где можно познакомиться с новинками современной музыки, услышать любимые мелодии.

К сожалению, это значительное культурное дело как-то прошло мимо внимания исследователей музыкального прошлого Урала. Зато его отметил Д. Н. Мамин-Сибиряк, уделив в романе «Приваловские миллионы» место и концертам на Лалетинских

минеральных водах, бывших собственностью Шатовских (то есть Нижнесергинских) заводов.

Так еще один факт из семейной хроники Тихачевых оказался фактом, интересным и для истории края.

Как и следовало ожидать, «аршинников» из прирожденных музыкантов не получилось — спустя некоторое время арендатором курорта стал оборотистый врач Доброхотов. А Тихачеки снова только музыканты — дирижируют, играют в оркестрах, дают уроки музыки. Старший выступает все реже, уходит в тень, зато младший обретает все большую известность. В сезон 1897/98 г. он уже капельмейстер — музыкальный руководитель труппы П. П. Медведева, ставит много новых оперетт (большинство из них впервые на Урале) и, судя по отзывам в газетах, весьма успешно.

И вот из очередной шкатулки появляются следы третьего поколения «русских Тихачевых».

Здесь надо сказать, что жена Иосифа Ивановича, Татьяна Михайловна, тоже оказалась одаренной натурой: увлекалась живописью, выжиганием по дереву, художественной вышивкой. И передала свои художественные наклонности новому поколению Тихачевых.

Так, старший сын, Валерий Иосифович, хотя и стал по профессии ученым-лесоводом, большим специалистом в своем деле, был не только прекрасным пианистом, но и способным художником.

Сестра его, Маргарита, тоже слыла хорошей музыкантшей, но больше тяготела к изобразительному искусству, получила художественное образование и преподавала рисование.

Младший брат, Сергей, избрал специальностью юриспруденцию, но увлечения музыкой и живописью не избежал, по утверждению родных и знакомых, мог

при желании стать профессиональным художником или музыкантом.

Лишь Екатерина Иосифовна продолжила музыкальную профессию — стала певицей. Обладательница нежного и проникновенного меццо-сопрано, она в 1915 году окончила Московскую консерваторию по классу известного педагога профессора Зарудной, пела в театрах и концертных залах Москвы, Уфы, Свердловска и других городов.

Художественные пристрастия столь многих членов семьи, конечно, оставили след и в семейном архиве, да и во всей квартире. Пейзажные картины на стенах, искусно выжженные филенки буфета и шкафчиков, тяжелые папки с акварельными листами, на которых главным образом изображения цветов, — до того тонко и точно исполненные, что смело могли бы стать иллюстрациями в ботанических атласах, не теряя при этом своих художественных достоинств.

А на дне одной из очередных шкатулок обнаружили альбомы рисунков пером, удивительно легких, изящных, выразительных. Большинство из них невелики по размерам, иные всего с двухкопеечную монету. Не часто встретишь и у признанных мастеров графики такую способность добиваться столь высокой степени мастерства и изящества в миниатюре: несколько штрихов на площади величиной с ноготь — и перед вами выразительнейший портрет человека, про которого можно сказать многое, не зная его.

И все-таки не только этим примечательны рисунки. Собранные в альбомах, они составили своеобразную изобразительную антологию типажа жителей города начала нашего века.

Какое разнообразие типов и сюжетов! Картинки из жизни гимназии: уроки, экзамены, типы учеников и учителей. Сцена в лавочке. У портного. У фото-

графа. Домашний концерт. Пасхальные визитеры. Танцы в клубе: вереница пар, одна другой характернее. Картежники. Урок музыки. Урок рисования. У врача. В читальне. На катке. Публика городского бульвара. У церковной паперти — нищие и «благодетели». Думский оратор. Поп и дьячок. Купец и купчиха. Чиновник в «присутствии». Няня с младенцем. Молодая жена в экипаже с мужем-стариком. Сцены из спектаклей городского театра, его актеры в ролях и без грима, зрители всех ярусов, от партера и лож до райка...

Сотни миниатюр в одном альбоме. А их всего пять. Значит — тысячи рисунков, один другого любопытнее и ценнее! Несомненно, это богатство и для историка города, и для постановщика спектакля или фильма о тех годах.

А в одном из альбомов, между его листов, оказались вложенными несколько вырезок карикатур из какого-то журнала. «Почерк» их автора и альбомного художника, несомненно, одинаков. Больше того, типаж некоторых журнальных карикатур можно найти и на страницах альбомов. Но здесь, в журнале, уже не безобидные жанровые сценки, а острые сатирические композиции обличительного характера на местные темы. Тут «зверинец» Красного Креста, где процветает хищничество, тут шабаш скандальных деятелей местного общественного клуба, тут разоблачение неблаговидных порядков в «тихом омуте» женской гимназии. И, наконец, лицевая обложка самого журнала... Ба, да это «Гном»! Этот «общественно-сатирический журнал», как он рекомендовался на обложке, возник в Екатеринбурге на гребне революции 1905—1907 гг. и заслужил широкую известность у читателей Урала и... у полиции. За свое резко антиправительственное направление, дерзкие (даже по тому времени недолгих «свобод»)

выпады против самодержавия журналу пришлось претерпеть многое — его не раз штрафовали, закрывали, конфисковывали готовые тиражи, вымарывали чуть ли не половину страниц, садили редактора В. С. Мутных в тюрьму и, наконец, окончательно закрыли в середине 1907 года.

О «Гноме» писалось не раз, но все как-то вскользь, понемногу и в связи с чем-нибудь. К сожалению, нет пока ни одной обстоятельной исследовательской работы, рассказывающей о его истории, о цензурных и иных мытарствах, о его содержании, наконец, о его авторах и художниках, большинство которых печаталось, по вполне понятным причинам, под псевдонимами (многие из них так и остались нерасшифрованными).

Чаще всего о «Гноме» вспоминают в связи с биографией выдающегося советского скульптора И. Д. Шадра — он, тогда еще ученик Екатеринбургской художественно-промышленной школы Иван Иванов, публиковал в журнале свои политические рисунки под псевдонимом Ж 'Ан.

Специальная исследовательская работа о «Гноме», безусловно, когда-нибудь появится, и тогда альбомы Тихачеков и их рисунки в журнале послужат ценным материалом для нее.

А что авторы рисунков на журнальных вырезках — Тихачеки, в этом сомнения нет, подпись под ними: «Т-во Брехачек», — слишком прозрачный псевдоним, не говоря уже о почерке авторов — Валерия и Маргариты Тихачеков, одинаковом в их альбомах и в журнале.

Если в первом и втором поколениях Тихачеков профессией и увлечением была музыка, а в третьем, при разности профессий, основным пристрастием все же стало изобразительное искусство, принесен-

ное в семью Татьяной Михайловной Дмитриевой, то с приходом в дом Александры Николаевны Князевой, ставшей женой Сергея Иосифовича, в семье появился новый профиль профессий, передавшийся и дальше,—медицина. Впрочем, сама Александра Николаевна сумела приблизить свою специальность к профессии первых Тихачеков. Врач-отоларинголог, она специализировалась на постановке голоса артистам, в основном певцам. Медицине же посвятила себя и ее дочь, нынешний хранитель архива и реликвий династии Тихачеков Елена Сергеевна — физиолог, преподаватель медицинского института.

Вот и разобран «бабушкин сундук» одной династии. А сколько важного и интересного для многих открылось! И пусть не встретилось при этом сенсационных открытий — всякая история воссоздается по крохам. Особенность нынешней исторической науки состоит в том, что она идет не столько вширь (белых пятен в ней, как и в географии, уже почти не осталось), сколько вглубь, уточняя и детализируя открытое ранее, но еще слабо изученное, исследованное. И эта тенденция с годами будет лишь усиливаться. Тогда-то и пригодится исследователям каждый, даже самый, казалось бы, незначительный, с сегодняшней точки зрения, факт.

Один «сундук»... А сколько их в шкафах и чуланах, на чердаках и антресолях — полузабытых и совсем забытых, хранимых без внимания и любопытства, доживающих свой век в ожидании, когда их сожгут в печке или сбросят в мусоропровод. Или, наоборот, бережно откроют их чьи-то равнодушные руки, внимательным и пристальным взглядом ознакомятся с отсложениями дней и лет своих бабушек и дедушек, заботливо сохраняют для своих потомков, которые, конечно же, будут благодарны им за это.



ПОД ЗНАКОМ ЗОЛОТОГО КЛЮЧА

Был в истории Урала такой период — примерно с середины 80-х до середины 90-х годов XVIII века, — который неизменно привлекает внимание исследователей культурного прошлого края. За каких-то десять—двенадцать лет Тобольск и Пермь (объединенные в то время общим генерал-губернаторством) как бы шагнули из одной культурной эпохи в другую. Началась эра книгопечатания — стали работать две типографии, наладившие выпуск книг *общепользовного* содержания (а в Тобольске даже и журналов — одних из первых в российской провинции). Появилась целая сеть школ — «народных училищ». Было положено начало организованной книжной торговле — на комиссионной основе из Петербурга и Москвы на Урал шли партии книг, главным образом изданий Н. И. Новикова (недаром их так много и посейчас в старейших библиотеках края).

И это в то время, когда, скажем, более близкая к столицам Вятская губерния жила куда скромнее в культурном отношении.

Сами эти факты в отдельности давно были замечены исследователями, о них много писалось — и статей, и книг, и монографий. Но не было попытки увязать события в какую-то стройную систему, выявить их возможный общий источник. Правда, и данных-то для этого имелось маловато.

Но именно поэтому следует дорожить всякой новой зацепкой, позволяющей хотя бы предположи-

тельно приблизиться к прояснению загадки «золотого десятилетия».

Случай — встреча с одной старинной рукописью — заставил меня задуматься над возможностью одного *предположения*.

Масоны... Не каждый сейчас и вспомнит о них. Разве что всплывет в памяти эпизод из «Войны и мира», где Пьера Безухова принимали в масоны. Как это там?..

...Ему завязали глаза и повели куда-то... В дверь слышались сильные удары, и он, как было условлено, снял повязку и увидел в полутемной комнате: черный стол с лампадой из человеческого черепа и евангелием, гроб с костями... Вошел неизвестный человек в белом кожаном фартуке и учинил ему расспрос о целях, приведших его сюда... Затем второй раз пришел человек и передал ему семь добродетелей — семь ступеней в храм Соломона...

Ну и дальше в том же духе, не менее таинственно и... маскарадно.

Более дотошный книгочей вспомнит еще похожие эпизоды в «Повести о братьях Тургеневых» А. Виноградова, роман А. Писемского «Масоны», а кое-кто — и совсем забытые ныне произведения полу-бульварных литераторов вроде графа Салиаса, князя Волконского и им подобных. Вот там-то мистические страсти рассеяны по страницам в изобилии.

И, оказывается, это не домыслы сочинителей, не плоды их разгулявшейся фантазии, а самая что ни на есть историческая правда. Чтобы убедиться в этом, достаточно заглянуть в обширную специальную литературу, особенно в рукописные масонские «Обрядники», где регламентирована вся организационная и ритуальная сторона деятельности лож разного толка: условия их основания и открытия, иерархия членства (в некоторых ложах — до 18 степеней),

порядок приема в члены ордена и перевода их из степени в степень, проведения разного рода заседаний (ученических, товарищеских, поучительных, мастерских, теоретических, столовых, траурных и пр.), обстановка и декорации каждой из комнат ложи в разных ситуациях, вещественный антураж (мечи и шпаги, черепа и кости, светильники и экраны, ковры и покрывала с кабалистическими знаками, ритуальные циркули и треугольники, фартуки и молотки и прочее и прочее).

Обрядники — у каждой системы лож свой — устанавливали кто и что, когда и где должен говорить при каждом обряде, какой ответ получать, когда и сколько раз стучать в дверь или молотком по столу, когда сколько свечей зажигать, когда во что быть одетым. Словом, все до последних мелочей было регламентировано, и сегодня просто трудно представить себе, как все это умудрялись запоминать и действовать без суфлера. Например, обряд принятия в ложу нового члена, переписанный мной (сокращенно!) из обрядника одной ложи, занял шесть машинописных страниц. Впрочем, суфлер был — его заменял брат-обрядоначальник, специальное лицо, которое заранее готовило очередное представление, то есть, простите, обряд.

Так кто же такие масоны? Тайное сообщество мистиков? Любители театрализованных священнодействий?

Да, конечно, мистика тут на первом плане. Но и о театре вопрос не риторический — не случайно профессор В. Всеволодский-Гернгросс в своей «Истории русского театра» (1929) посвятил около сорока страниц масонским обрядам, назвав эту главу «Дворянский самодеятельный театр» (любопытно, кстати, что один из видных русских масонов И. П. Елагин

пятнадцать лет состоял управляющим императорскими театрами).

Но мистика и театр — это внешнее, показное, главное было все же в другом. Историки характеризуют масонство как религиозно-нравственное движение, которое, «противопоставляя себя феодальной государственности и официальной церкви, стремились создать тайную всемирную организацию с целью мирного объединения человечества в религиозном братском союзе» (Советская историческая энциклопедия, т. 9). А средства достижения этой цели — всеобщее просвещение и нравственное совершенствование.

Система организации и кодекс мистической обрядности были взяты масонами, как говорится, напрокат у средневекового ордена вольных каменщиков, тайного сообщества цеха высококвалифицированных мастеров-строителей, созданного для ограждения своих цеховых интересов, — отсюда в масонской бутафории фартуки, молотки, циркули и лопатки и прочие атрибуты профессии каменщика.

Тайные масонские организации, как, впрочем, и всякие тайные общества, конечно, не могли вызвать симпатий у официальной церкви и властей тех стран, где они возникали, потому масонам пришлось испытать и гонения. Однако не везде и не всегда. Масонство-то оказалось неоднородным: одни видели в нем средство противоборства придворных партий за право контроля над какой-то сферой интересов, другие — способ выдвинуться за счет знакомства с влиятельными «братьями» по ложе, а третьи — лишь развлечение, своеобразный самодеятельный театр. Да и у тех, кто искренне стремился к просвещению и совершенствованию, чаще всего это сводилось к прекраснодушной болтовне об основах христианской морали и человеческих добродетелях.

Тот же упомянутый выше И. П. Елагин откровенничал о целях, с которыми вступал в масоны: «Любопытство и тщеславие, да узнаю таинство, находящееся, как сказывали, между ними, тщеславие, да буду хоть на минуту в равенстве с такими людьми, кои в обществе знамениты... Содействовала тому и лестная надежда, не могу ли чрез братство достать в вельможах покровителей и друзей, могущих споспешествовать счастью моему». Куда уж откровеннее!..

Однако кое-где возникали и такие ложи, программа и деятельность которых становились опасными для власть имущих. Например, такая ветвь масонства, как орден иллюминатов, имевший тайной целью замену христианской религии деизмом (в тех условиях — тайной формой атеизма) и монархической формы правления республиканской. А это напрямую сближало их с идеями французского Просвещения. И недаром с иллюминатами так яростно боролись и церковь и правительства всех стран Европы.

В России свои масонские ложи появились в начале 1770-х годов. Как и на Западе, в идеологическом отношении они были весьма разношерстными: они «объединяли людей с самыми разнообразными и подчас противоречащими друг другу запросами — здесь были и скептики-вольтерьянцы, и мистики, и видные общественные деятели, либералы и крепостники» — так характеризовал их один историк масонства. С масонством заигрывал великий князь Павел Петрович, будущий император всероссийский. Многие из будущих декабристов тоже состояли в ложах, но быстро раскусили бездеятельную сущность общества и отошли от него.

Да и Пьер Безухов, как мы знаем, тоже вскоре убедился в беспочвенности надежд на реальную ценность масонства и порвал с ним. Вспомним, что и Пушкин, вступивший в 1821 году в Кишиневскую ло-

жу Овидия, вскоре закрытую, жалел, пожалуй, не столько о несостоявшемся своем масонстве, сколько о невозможности дальнейшего откровенного общения в тайном кружке с людьми свободолюбивых устремлений, с будущими декабристами.

Правда, долго и прочно была связана с масонством судьба такой светлой личности в нашей истории — замечательного русского просветителя Николая Ивановича Новикова. Но то, что для большинства масонов было второстепенным, лишь предметом декламации — всеобщее просвещение и нравственное усовершенствование, — для него являлось основным, о чем свидетельствует вся его практическая деятельность. Мистическая мишура, ритуальные маскарады тяготили его, он хотел бы свести их к минимуму, а то и совсем избавиться от них (чем и восстановил против себя сочленов по ложе из числа видных аристократов).

Показательно, что Новиков и принят-то был в орден, согласно поставленному им условию, без всякого маскарадного ритуала, в обход всех масонских законов.

Вот какие они разные были, эти масоны!.. И поскольку таких, как Новиков, насчитывались единицы, власти смотрели на масонов сквозь пальцы и не преследовали. Боялись их разве что графини-бабушки из окружения Фамусова («Что? К фармазонам в клоб? Пошел он в басурманы?»). В 1810 году Александр I даже разрешил деятельность лож в России, но в 1822 году сам же решительно и окончательно запретил — разные тайные общества начали всерьез беспокоить его. По всей империи со всех государственных служащих отобрали подписки о непринадлежности к тайным обществам, в том числе и к масонам (в архиве Пермского губернского правления тоже хранилось такое «дело»).

Много лет назад мне довелось от кого-то слышать, что масоны были и на Урале. Признаться, не поверил тогда, а потом сомневался — может, что-то не так понял. В самом деле, откуда в нашем крае взяться масонам? Основные кадры их, как известно, составляли представители аристократии, богатого дворянства, высшего чиновничества. * Для помещений ложи и оборудования ее требовались просторные хоромы и немалые средства. Разному служилому люду и мелкопоместным дворянчикам эта забава была не по зубам. Поэтому трудно представить себе, что масонские ложи действовали и на Урале, в этой далекой и сравнительно молодой российской провинции. Богатых заводчиков принимать в расчет не приходится — они здесь бывали лишь наездами, между собой не общались.

Тем более ни у одного из старых историков края нигде даже мельком не упоминается о масонах — ни у всезнающего Чупина, ни у обстоятельнейшего библиографа Смышляева, ни у перерывшего горы документов археографа Шишонко, ни у дотошного Дмитриева, проследившего, кажется, каждый день в истории Перми конца XVIII века. А уж если у них нет, то обычно считается, что и нигде больше нет.

А вот нашлось!

Нашлось-то вначале всего две строчки, но они дали ниточку к поиску и вывели-таки на след уральских масонов. В книге Г. В. Вернадского «Русское масонство в царствование Екатерины II» (1917) между прочим сообщалось, что «...вероятно, шведского же масонства держалась и основанная бывшими членами ложи Горуса ложа Золотого ключа в

* Для вступления в капитул Феникса, например, требовалось предъявить родословную с 16-ю коленами дворянской крови.

Перми, открытая 24 июня 1783 г.». В другом месте автор указывал и источник этих сведений — речи мастера ложи И. И. Панаева, хранящиеся в семейном архиве О. И. Гильдебрандт, а в копиях — в архиве А. Н. Пыпина. А Пыпин в своем труде «Русское масонство» (1916), как оказалось, упоминает уже не только о речах Панаева, но и о протоколах ложи.

Теперь оставалось лишь найти эти документы. Но где искать семейный архив какой-то О. И. Гильдебрандт? А если копии остались в бумагах Пыпина, то как найти иголку в стоге сена — какие-то несколько листочков в огромном архиве этого историка и литературоведа, рассеянном чуть ли не по десятку архивохранилищ и составляющем около трех тысяч дел?!

Помог случай. Просматривая совсем по другому поводу картотеку рукописного отдела Публичной библиотеки имени Салтыкова-Щедрина в Ленинграде, каким-то верховым зрением уловил среди бегло промелькнувших под пальцами карточек ту самую, о которой уже и мечтать перестал: *«Рукописи, заключающие в себе подлинные акты масонской ложи Золотого ключа в Перми за 1783 год».*

...И вот рукопись передо мной. Вид ее скромный и какой-то уж очень обычный (а представлялось, что и вид ее должен быть особенным — с изображениями черепов, костей и прочей чертовщины) — обычные листы писчей бумаги старого формата, заполненные четким писарским почерком конца XVIII века.

Бережно переворачивая листы, погружаюсь в хронику жизни этого своеобразного сообщества, столь неожиданно возникшего на уральской земле в те давние годы. Когда в читальном зале отдела рукописей стемнело и дежурный сотрудник включил общий свет, а сидящие за столиками читатели — свои настольные лампы, я уже настолько вжился в быт ложи,

что показалось, будто это вспыхнула не люстра читального зала, а главный жертвенник ложи, и не читатели включили свои лампы, а братья-каменщики в кафтанах XVIII века возжгли светильники в виде человеческих черепов. Ряды старинных книг в кожаных с золотым тиснением переплетах, выстроившиеся на полках старинных же шкафов вдоль стен читального зала, лишь помогали этой игре воображения.

Итак, лист первый...

«... 1783-го года июня 24 дня, в день праздника святого Иоанна, братья истинные, вольные каменщики Иван Иванович Панаев, Христиан Осипович Шталмеер, Лев Иванович Черкасов, Иван Данилович Шестаков, Петр Иванович Блохин, Иван Иванович Дубровин собрались в квартире высокопочтенного брата Панаева, где с обыкновенными обрядами (сколько обстоятельства позволили их употребить) торжествовали день сей, заключив торжество сие столовою ложею. Но как главная причина собрания не иначе состояла в том, чтобы совокупно советовать [ся] о начатии и продолжении впредь священных работ, то в сем собрании и было рассуждаемо следующее».

И далее следовал экскурс в предысторию ложи. Оказывается, ее намеревались открыть еще почти два года назад, но...

«...Известно, что в прошедшем 1781-м году октября в 27 день высокопочтенный брат Панаев, созвав присутствовавших тогда здесь братьев, предложил им, не согласятся ли они для наивящего упражнения в священной нашей науке установить здесь законную ложу святого Иоанна, предъявив им на таковое учреждение данное ему право. На что все братья (коих имена ниже сего написаны) изъявили единодушное свое желание. И вскоре общим иждиве-

нием почти все надобные вещи были изготовлены, оставалось только устроить приличное место, где бы открыть ложу и начать священные работы под предводительством высокопочтенного брата Панаева, наименовав оную ложею Золотого ключа. Но, к сожалению, таковое богоугодное намерение за отсутствием братьев, за неимением дома и по разным другим причинам не имело и по сие время желаемого исполнения.

Ныне же, находя удобнейшим к собранию местом квартиру высокопочтенного брата Панаева, единогласно положили до настоящего учреждения ложи собираться в оную и под его руководством составлять ложу поучения. Когда же соберется надлежащее число братьев и обстоятельства позволят, тогда, при помощи всевышнего Строителя, по уставам ордена открыть настоящую работающую ложу святого Иоанна под особым названием ложи Золотого ключа».

К протоколу приложены и списки учредителей. Это, во-первых, списки «присутствовавших в собрании октября 27 дня 1781 года и согласившихся на установление ложи»: Иван Иванович Панаев, Карл Николаевич Бицов, Григорий Максимович Походяшин, Александр Яковлевич Павлуцкий, Иван Павлович Борнеман, Иван Иванович Черкасов, Христиан Осипович Шталмеер, Лев Иванович Черкасов, Франц Иванович Мигар и Семен Васильевич Яковлев.

Затем перечислены «братья, находящиеся в отсутствии и объявившие чрез других к тому же свои желания, которые и объявлены сочленами», — Андрей Степанович Листовский и Семен Алексеевич Исаков.

А заключают списки «ныне вступившие в члены» — Иван Данилович Шестаков, Петр Иванович Блохин и Иван Иванович Дубровин.

Отмечено, что Панаев, Походяшин, Павлуцкий,

Иван Черкасов, Листовский и Исаков уже состояли членами петербургской ложи Ора (точнее — Горуса).

Имена эти пока здесь мало о чем говорят, и мы их оставим, чтобы вернуться к ним позднее, а тем временем посмотрим на место действия тех лет, город Пермь.

...В 1780 году, почти в самом конце затеянной Екатериной II административной реформы империи, была образована Пермская губерния (на правах наместничества). Поскольку подходящего для столицы губернии города тут не имелось, в январе 1781 года повелено было основать таковой на месте деревни Егошихи, около медеплавильного заводика на берегу Камы, «наименовав оный Пермь».

Спешно начали строить губернаторский дом, казармы, присутственные места, церковь и хоть маленькую, но тюрьму (гауптвахту). Начали съезжаться чиновники, кто временно, а кто постоянно назначенные сюда из столиц и старых губернских городов. И уже 18 октября того же года при пушечной пальбе, колокольном звоне и огнях иллюминации последовало открытие города и губернии.

И — не удивительно ли! — еще и десяти дней не прошло после открытия города, а в нем уже обосновалась ложа масонская. Такого история этого ордена, пожалуй, не знала!

Однако в 1781 году состоялось лишь, так сказать, организационное ее собрание, а основная деятельность началась позднее. Зато как активно: за следующие три месяца пермские масоны собирались тринадцать раз!

Впрочем, это можно понять: предстояло обучить неопитов основам масонского учения, освоить многосложный порядок обрядов и вообще всю кухню мистических таинств, надо было позаботиться о пополнении ложи, чтобы достичь необходимого кворума,

наконец, переводить старых членов из степени в степень, дабы поднять солидность новой ложи.

Так на втором собрании, 1 июля, «высокопочтенный брат Панаев читал краткое наставление братьям, изъясняя во оном, почему приобретение добродетели поставляется первою работою или первым искусством истинного вольного каменщика. После чего братья наставляемы были... в изъяснении ков-ра, в обыкновениях, уставах и учреждениях ордена».

Уже через четыре дня, 5 июля, масоны собрались снова. На этот раз протокол поведал о том, как проходил прием в члены ложи «ищущего» этого звания.

«...Почтенный брат Черкасов послан был двоекратно в темную комнату к ищущему и, учиня надлежащие с ним испытания, привел его ко дверям храма, где ищущий объявил, что имя его Петр, отчество Антонов сын, прозвание Бейльвиц, от роду имеет 32 года... служит здешней губернии в Пермском уездном суде судьбою, пропитание свое имеет от жалованья... ко вступлению в наше общество влечет его не любопытство или чей-нибудь уговор или какое другое намерение, но истинное и усердное желание к просвещению. Сей ищущий впущен в ложу и по учинению трех рыцарских путешествий приведен был к алтарю, учинил присягу, удостоен видеть свет и принят в рыцари вольные каменщики учеником-братом и членом сего ордена».

На следующем собрании (15 июля) таким же образом приняли в ученическую степень Петра Алексеевича Бабановского, 23-летнего прапорщика местных штатных рот, которой тоже «пропитание свое имеет от жалованья». А еще через неделю принимали в члены своей ложи уже состоявшего где-то масоном Ивана Ульяновича Ванслова, видимо, только что приехавшего в Пермь. Он «изъявил свое желание быть членом нашего общества и обыкновенным

образом пред жертвенником ордена утвердил свое согласие».

За месяц с небольшим ложа пополнилась настолько, что появилась возможность открыть ее уже официально, в соответствии с уставом и по всем правилам обрядности. Судя по протоколу открытия 29 июля, ритуал обряда удалось соблюсти полностью, хотя и со скидкой на провинциальные условия.

«По учреждении ложи обыкновенным порядком в оную шли: брат Шталмеер с мечом, за ним брат Шестаков со списком, в середине брат Лев Черкасов с обрядами первых трех степеней и общими законами. По другую руку брат Блохин. За ними с зажженными свечами братья Походяшин, Иван Черкасов и брат Панаев. По входе в ложу делали три путешествия, по окончанию которых постановлял брат Панаев светильники, говоря при первом...»

Опустим дальнейшие эпизоды этого самодеятельного спектакля, перейдя сразу к финалу, в котором «...великий мастер назначил и выбрал чиновников ложи». Должностей в штате оказалось много: первый и второй надзиратели (заместители главного мастера), секретарь, оратор, казнохранитель, обрядоначальник, собиратели милостыни...

После решения разных организационных дел «радостное сего дня происшествие» окончено было столовою ложей, которая продолжалась с 7 до 11 часов.

Столовая ложа представляла собой некое театрализованное застолье: «сначала все читают про себя молитву и великий мастер приказывает зарядить пушки. Присутствующие пьют за здоровье ряда лиц сперва по положению, а потом и по желанию, сопровождая каждое здравие выстрелом из пушки... За выстрелом может следовать заздравная песня».

Такие пирушки с игрушечными («мусикийскими»)

пушками были популярны в аристократических ложах, а в некоторых из них составляли чуть ли не основу «деятельности» и ничем не отличались от обычных гусарских кутежей. Обилие и роскошь пиров привлекали в такие ложи вполне определенную публику, которой на самые-то идеалы масонства было просто наплевать.

Но это в богатых ложах, в доме какого-нибудь барина, которому приятно похвастаться искусством вывезенного из Парижа повара и ананасами из собственных оранжерей. Пермским чиновникам, которые «пропитание свое имеют от жалованья», такие пирушки были, конечно, не по карману, но правила игры в масоны приходилось соблюдать.

Итак, ложа была законно открыта. Дальнейшая ее деятельность протекала в том же духе — те же маскарады и нравоучительные речи. Так бы, наверное, шло и далее, но...

20 сентября того же года, как-то совершенно неожиданно, ложа была закрыта. Еще за шесть дней до этого, на очередном собрании, ничто не предвещало столь скорого конца — кого-то переводили из степени в степень, слушали очередную речь Панаева («...великий мастер рассуждал о трех наших шагах к восходящей на востоке вечности») — в протоколе нет даже намека на возможные перемены...

И вдруг тот же великий мастер Панаев «сентября в 20-й день» объявляет, что «в рассуждении отлучения его из сего города в Казань к новой должности по его службе, так и в рассуждении отъезда и других членов, необходимо принужден он учрежденную на востоке Перми ложу Золотого ключа закрыть».

Чем был вызван столь скоропалительный отъезд целой группы «братьев», выяснить пока не удалось. Последний протокол ложи фиксирует лишь хлопоты по ее ликвидации: «Рассматриваемо было экономиче-

ское состояние ложи» (56 рублей с копейками, собранные для бедных,— раздать по назначению); «вещи, к украшению ложи служащие», предложено Панаеву увезти в Казань («дабы могли они употреблены быть, когда... ложа сия получит свое возобновление»); всем тем, кто был принят в масоны в Перми, выданы об этом свидетельства. После чего «происходило надлежащее троекратное путешествие и великий мастер погасил светильник храма».

Бессменный секретарь ложи Иван Шестаков элегически заканчивал протокол: «Таким образом, к чувствительному прискорбию братьев... прекратились священные их работы... Но усердие их истинное не ко благу своему собственному, а к пользе ордена, дружество и любовь братская, их соединяющая, и, наконец, сердца их, расположенные ко снисканию истинного просвещения, все сие удостоверяет, что священный и полезный труд сей никогда не прекратится в душах их».

«Полезный труд сей»... Но велика ли польза от душевспасительных бесед да нескольких десятков рублей, собранных для бедных? Может, тут было еще и что-то другое, не отмеченное в протоколах? О чем, например, говорилось целых четыре часа в столовой ложе 29 июля? Кто теперь скажет...

А может быть, стоит присмотреться к этой ложе с какой-то другой стороны, не по протоколам?

Необычным было уже и само название ложи. Оно выделялось своеобразием в ряду названий других лож, обычно носивших имена мифологических и библейских персонажей (Астрей, Горус, Феникс), или элементов масонской символики (вроде Восходящего солнца). А тут — Золотой ключ, давний символ книги, ключа к знаниям, принятый эмблемой книгоиздательства, библиографии, библиофильства.

Необычна она и по составу своему. Здесь все

чиновники невысоких рангов. У такой публики, да еще в такой глуши, основное занятие общеизвестно — вино да карты. А тут — тайное общество, главной целью которого (по уставу) значится всеобщее просвещение и нравственное совершенствование. И когда — «в жестокий век Екатерины», вскоре после подавления восстания Пугачева, выросшего в мощную Крестьянскую войну, охватившую почти весь Урал...

Так что же за люди пермские масоны — кто они, чем примечательны кроме участия в ложе Золотого ключа?

По разного рода «Росписям чиновных особ в государстве» за эти годы можно узнать о некоторых из них. Выяснилось, что Ашитков, Ванслов и Лев Черкасов были заседателями, а Бейльвиц — судьей земского суда, Блохин — председателем, а Шестаков прокурором в губернском магистрате, Шталмеер — секретарем приказа общественного призрения, Александр Павлуцкий — провиантмейстером, Бабановский — прапорщиком, Крох — лекарем, а Исаков — поверенным заводчиков Походяшиных. Все они в невысоких чинах, не выше надворного советника (равного армейскому подполковнику). Восьми человек даже и в росписи нет — то ли уж совсем мелкая сошка. то ли люди других профессий, но никто из них ничем особенным известен потом не был.

А вот два имени заслуживают более пристального внимания.

Иван Иванович Панаев — основатель и руководитель ложи. Родился он в 1753 году на Урале, в Туринске, где его отец служил воеводой. Покровительствующий воеводе всесильный тогда сибирский губернатор Денис Чичерин способствовал карьере и его сына — еще в одиннадцатилетнем возрасте записал его в гвардию, хотя маленький Ваня конечно же продолжал жить в родительском доме (так делывали в то

время, чтобы к совершеннолетию дворянский отпрыск успел набрать чинов). Лет до пятнадцати Иван учился дома у местных грамотеев, а затем Чичерин взял его к себе в Тобольск, записал уже прапорщиком в один из полков, оставил жить в своем доме, нанял ему учителей «по многим наукам», в первую очередь по истории, логике, словесности, латыни и богословию.

Лишь в 1774 году Чичерин выпустил его из-под своей опеки — произвел в подпоручики и отправил в столицу, снабдив рекомендательными письмами к влиятельным придворным персонам. Все это, очевидно, с дальним прицелом — иметь поближе ко двору своего человека.

Воеводский сын и в самом деле довольно быстро вошел в круг высшего общества — стал адъютантом у генерала Румянцева (сына знаменитого фельдмаршала), а затем у генерал-губернатора обеих столиц генерал-аншефа графа Брюса, в доме которого бывал весь цвет общества. Иван Панаев сделался своим человеком в этом доме, сдружился с интересными людьми — поэтом Г. Р. Державиным, драматургом Я. Б. Княжнинным, актером И. А. Дмитриевским; просвещенными барами И. В. Лопухиным, И. П. Тургеневым, О. А. Поздеевым (в «Войне и мире» он выведен Баздеевым), поэтом И. И. Дмитриевым, университетскими профессорами философом А. М. Брянцевым, географом Х. А. Чеботаревым, химиком П. И. Страховым. И Николаем Ивановичем Новиковым (заметим это). Примечательно, что большинство из этих знакомых Панаева вскоре составили основные кадры русского масонства. В эти годы и сам Панаев стал масоном, членом петербургской ложи Горуса.

Есть сведения, что Иван Иванович был не чужд и литературных занятий, его сочинения пользова-

лись успехом, за ними даже охотились. Впрочем, это понятно — они... не печатались, а ходили лишь в списках. Поэтому можно предполагать, что Иван Иванович писал не романы, а религиозно-нравственные сочинения масонского толка.

В 1781 году при «открытии губерний» Панаев вышел в отставку с небольшим относительно чином секунд-майора и поступил на гражданскую службу в провинцию. Его назначили в новооткрытую Пермь губернским прокурором. Здесь его и застаёт наша история ложи Золотого ключа.

Что побудило молодого (28 лет) столичного офицера оставить блага столичной жизни и возможности светской карьеры? Биографы его намекают на какие-то «благие намерения», но не поясняют их. А что, может, и в самом деле Иван Иванович решил нести в глухую провинцию свет всеобщего просвещения.

В чем-то внешне похожа история и его сочлена по пермской ложе Григория Максимовича Походяшина, сына знаменитого в истории Урала купца и заводчика, выбившегося из ямщиков в миллионеры, ставшего одним из богатейших людей России, о котором, например, П. А. Словцов, историк Сибири, писал так: «...Стяжавший безмерное богатство собственной промышленностью, достиг памяти как оригинал любопытный. Сын ямщика безграмотный, основатель огромных и разнообразных заведений, содержал в Верхотурье богатый дом, обучал своих детей по образцу дворянскому, а сам одевался как простолюдин, ходил в смуром кафтане с заплатами, сверху в армяке и черках».

Другой историк (Н. К. Чупин) оставил нам описание поместья Походяшиных, где прошло детство Григория: «Усадьба... состояла из целого квартала. Дом деревянный, но огромный... тридцать отлично

расписанных и меблированных комнат; около стояли еще три дома, кухня, службы, скотный двор». Эту резиденцию Максима Походяшина охотно посещал губернатор Чичерин, в свою очередь гостеприимно принимавший у себя в тобольском своем дворце экстравагантного купца.

Максим Походяшин не был дворянином, но... деньги всемогущи: в свои 14 лет Григорий был записан в привилегированный лейб-гвардии Преображенский полк, а спустя несколько лет он уже поручик (значит, получил дворянское звание). В Петербурге он вхож в светское общество, близко знаком с видными его представителями, но тянется больше к людям философского склада ума, размышляющим о нравственной природе человека. В эти же годы он стал членом ложи барона Рейхеля, как и Н. И. Новиков, который высоко ценил ее деятельность: «Тут было все обращено на нравственность и самопознание».

В декабре 1780 года Максим Походяшин умер и Григорию пришлось ехать на Урал хоронить отца и выяснять свои наследственные дела. Здесь летом 1781 года они и встретились с Панаевым, уже знакомые друг с другом по петербургской ложе Горуса, и стали основателями новой ложи.

Протоколы ложи мало что говорят нам о деятельности «рыцарей Золотого ключа» в тот год. Зато больше известно о их делах после закрытия ложи.

Хотя протокол закрытия указывает причиной отъезд Панаева, он будто никуда и не выезжал из Перми — продолжает числиться в той же должности по «Росписям чинов...» в последующие годы до конца жизни.

В 1786 году он стал одним из организаторов народных школ в крае и первым директором народных училищ Пермской губернии — этой стороне его дея-

тельности посвящены специальные статьи. Историки книжного дела приводят данные, что в 1788 году в числе лиц, которые «с немалой выгодой для Новикова выполняли обязанности его добровольных и бескорыстных комиссионеров», стоит имя И. И. Панаева. (Губернский прокурор в роли посредника политически неблагонадежного издателя!) В 1790 году именно через него получает Радищев, следующий в ссылку, деньги и необходимые для дальнейшего пути вещи, посланные в Пермь Воронцовым.

Это лишь то немногое, что удалось выявить по случайным источникам о деятельности этого интересного человека в Перми. А сколько «осталось за кадром»...

В 1796 году Иван Иванович Панаев поехал в Туринск хоронить отца, там простудился и спустя несколько дней, по дороге домой, умер в Ирбите. Его биограф С. В. Федосеев еще в конце прошлого века видел там в ограде собора памятник с высеченными на его гранях стихами: два из них посвятили отцу его сыновья Иван и Владимир (будущий известный литератор и академик), одно — «брат» Панаева по ложе Золотого ключа Лев Черкасов. Эпитафия Черкасова довольно ясно говорит о их масонской близости (через 13 лет после закрытия ложи!): «Под камнем сим сокрыт мой брат и друг почтенный, высокий в просвещении истины святой. Блажен он в небесах, здесь вечно незабвенный души и сердца несравненной простотой».

Совершенно по-особому сложилась дальнейшая судьба Григория Максимовича Походяшина, бывшего в пору ложи Золотого ключа гвардейским офицером, наследником богатейшего состояния, оставленного ему отцом.

Он тесно сблизился с Новиковым, а затем стал его другом и самым деятельным помощником. По

свидетельству самого Новикова, их сближало «сходство нравов, взаимная услужливость и откровенность».

Во всех трудах о жизни и деятельности Новикова имя Григория Походяшина, конечно, упоминается — главным образом в связи с финансовой поддержкой, оказанной предприятиям Новикова. И порой так, что это выглядело как чудачество, блажь богатого купца (а тон был задан еще аристократами-масонами из новиковского окружения — пренебрежительными отзывами в переписке и других документах). Новосибирская исследовательница М. М. Громыко, обстоятельно изучив документы (многие из них были подняты впервые), пришла к выводу, что Походяшин — *идейный* соратник великого русского просветителя, пытавшийся всеми силами спасти его дело, когда над ним нависла гроза.

После переезда Новикова в Москву Григорий Максимович последовал туда же за ним, стал членом основанного Новиковым «Теоретического градуса» и руководимого им «Дружеского ученого общества» — организаций, намечавших широкие планы просвещения путем издательской и иной деятельности.

С 1787 года их судьбы уже неразрывны. В постигший Россию в тот год страшный голод Новиков раздал почти все свое скромное личное состояние крестьянам окрестных деревень. Но это были крохи, несоизмеренные бедствию. Походяшин приходит ему на помощь — жертвует (безымянно!) сначала 10 тысяч рублей, а затем уже совсем огромную по тем временам сумму — 50 тысяч.

«С того времени,— писал потом в показаниях на следствии Новиков,—сделалось у г. Походяшина со мною тесное содружество и доверенность. Столь редкая доброта сердца исполнила меня на всю жизнь мою к нему искренним сердечным почтением и любовью». И заключал далее: «Искренне говорю, как

перед самым господом богом, в случае смерти моей поручал ему, как себе, жену мою и детей, и приучал их, чтобы они его почитали, как отца».

Походяшин деятельно участвовал и в книгораспространительской деятельности Новикова, иной раз беря на себя рискованные операции, чтобы отвести подозрения от друга, на которого уже начались гонения. Особенно он развивал свои связи с Сибирью. В 1787 году в Тобольскую семинарию поступило на 300 рублей книг «от Компании господина Новикова», несомненно, через Походяшина. Это видно уже по тому, что в том же году с его именем оказалась связанной еще одна книжная посылка.

Ее вручил тобольскому судье Якову Павлуцкому (брату пермских масонов Александра и Николая) поверенный Походяшина Попов. Это был тючок, зашитый в вощеную ткань и холст, в нем оказались «три письменные книги» и связка печатных указов (только ли?). Губернские власти почему-то заинтересовались этой, казалось бы, безобидной посылкой, потребовали от судьи объяснений. А судья, тоже непонятно почему, пугливо отказывается от нее — и адресована-то она не ему, а зятю, к тому времени покойному(!) чиновнику Тавайдакову; и что если он и обращался вместе с зятем (значит, обращался-таки), то совсем не за книгами, а за некими «домашними надобностями»; и что он, Павлуцкий, потом и сам писал Походяшину о той посылке, но ответа не получил.

Но прямо-таки подвиг совершил Григорий Походяшин, когда довелось спасти основное дело жизни Новикова — его Типографическую компанию, мощное книгоиздательское предприятие, предназначенное нести в полуграмотную Россию поток книг, служащих просвещению народа.

Когда Екатерина обратила на Новикова свой

державный гнев и вследствие этого началась цепь гонений на него, конфискация и уничтожение его изданий, Походяшин принялся затыкать финансовые бреши компании крупными субсидиями. А после ареста Новикова и конфискации всех его предприятий Походяшин — единственный из всех «акционеров»-учредителей — бросился выручать дело. В конце концов это стоило ему всех наследственных капиталов (к тому времени отцовские заводы были проданы за 2,5 миллиона рублей).

Смерть Екатерины, свирепо ненавидевшей Новикова, и воцарение Павла, благоволившего к масонам (потому что и сам некогда игрывал в масонство в пику матери) лишь ненамного поправили дела. Спасая от гибели конфискованные новиковские издания, Походяшин сумел пустить их в продажу через знакомых книгопродавцов и комиссионеров, а также через специально устроенную книжную лотерею, для которой он, кстати, составил «Роспись» — редкий для тех лет библиографический труд.

Все это в итоге разорило Походяшина. Но не призрак бедности угнетал его (современники утверждают, что он нес ее с достоинством и без жалоб), а неизбежная, несмотря на все усилия, гибель дела, которое он считал святым, и невозможность возродить его.

Умер Григорий Максимович в 1820 году, лишь на два года пережив своего друга и кумира, сохранив преданность его делу до конца дней своих.

Как много, оказывается, тянется нитей из Перми к Новикову! Все, что связано с Походяшиным, так или иначе ведет к этому замечательному человеку, радетелю русского просвещения. Мы знаем уже, что с ним был знаком и Панаев в период своей столичной жизни, поддерживал связи и потом, помогал

в распространении его изданий. Мы пока не знаем, насколько тесно были связаны с ним Александр Павлуцкий, Иван Черкасов, Ванслов Листовский и Исаев (поверенный Походяшина), но знаем, что они были знакомы по Петербургу и Москве.

То, что в протоколах ложи Золотого ключа не отразились эти связи и идейная близость к деятельности Новикова, еще ни о чем не говорит — протоколы писались не для этого, в них тоже продолжалась «игра в масоны» и они служили главным образом отчетом перед вышестоящей масонской инстанцией. А о чем говорилось в собраниях кроме этого, мы не знаем. Велись же, например, какие-то нерегламентированные беседы при четырехчасовом застолье в день открытия ложи 29 июля. Целых четыре часа! В день открытия — когда несомненно строились планы на будущее...

К тому же в 1783 году, в период, отраженный в протоколах, личные связи с Новиковым едва ли еще были прочными — Походяшин, например, стал его близким соратником позднее. Да и молодая губерния еще не была готова воспринять «новиковский дух» — стать местом приложения его идей.

Впрочем, личные связи Новикова с Пермью могли иметь место. Дело в том, что в 1783 году пермским вице-губернатором стал Александр Васильевич Алябьев (отец будущего известного композитора), женатый на близкой родственнице Новикова.

Но идейная близость, несомненно, была. Уже через некоторое время просветительские идеи Новикова проглядываются в развитии культурной жизни края. И в связи с этим возникают вопросы, на которые пока трудно дать аргументированный ответ, которые и ставить-то вроде бы преждевременно — фактов почти нет. Но ставить их, по-моему, надо — факты могут еще найтись.

Выше уже говорилось об участии Панаева в создании и руководстве народными училищами в губернии, о распространении новиковских изданий Панаевым и Походяшиным в Перми и Тобольске. Это факты бесспорные. А вот вопросы к некоторым другим фактам. Отнюдь не утверждения, а только лишь вопросы...

1789 год. В Тобольске открывается первая в Урало-Сибирском крае типография. Частная. До удивления быстро раздобыл редкое в то время оборудование для нее купец Корнильев, несомненно, знакомый Панаева (по давнему общению еще в доме Чичерина.) Вспомним, что у Новикова в тот год кончался контракт с типографией Московского университета, и он должен был что-то делать с припасенными на расширение дела ресурсами.

Нет ли связи между этими фактами? Может быть, здесь только случайное совпадение их, а может, недостает лишь одного какого-то факта, чтобы все они соединились в стройную цепочку?

1791 год. У служащих губернских учреждений Перми возникает идея основать типографию. В Москву (в Московский университет!) направляется совсем не знакомый с этим делом Петр Филипов, чиновник Верхнего земского суда (где, как мы помним, служили члены Золотого ключа Ашитков, Ванслов, Черкасов, Бейльвиц и, возможно, еще кто-то из тех, профессия которых в протоколах не указана). И, несмотря на полуотказ нового арендатора типографии Огорокова («в настоящее время нет в готовности требуемого количества литер»), без особых задержек Филипов достает необходимое и в своем отчете о поездке сообщает, что все потребное он отыскал «в иных казенных и *партикулярных* местах». Примечательно также, что, посылая Филипова в Москву (где было всего 9 типографий, против 15 в Пе-

тербурге), начальство выдало ему вместо требуемых по смете (кто ее составлял?) 1282 рублей 72 копеек всего лишь... 282 рубля с копейками, а тысячу «доплатил» кто-то через некоего Аполлона Андреевича.

Кто помогал пермякам обзавестись типографией?

1789—1796 годы. В Тобольске и Перми выходят издания, будто продолжающие тематическую линию новиковского книгоиздательства — книги научно-прикладного и справочного характера, столь нужные бедной на печатное слово стране. Три журнала — «Иртыш, превращающийся в Ипокрену», «Библиотека ученая...», «Исторический журнал» (который историки печати называют первым на Урале и в Сибири краеведческим журналом), сочинения о сибирской язве и борьбе с нею, наставление об экстренной медицинской помощи, юридический словарь, «Описание растений...», «Слово о пользе физики», «Нужнейшие экономические записки для крестьян» — это в Тобольске (были и другого характера книги, но их меньшинство). А вот в Перми — «О сибирской язве и ее народном лечении» (автор, лекарь Михайло Гамалея — родственник Семена Гамалеи, близкого знакомого Новикова и члена его Типографической компании), «Подробное описание типографских должностей» знакомого нам Петра Филипова.

А что в эти годы с Новиковым?

1789 год. По указанию Екатерины у него отобрали аренда на типографию Московского университета — основной его издательской базы. Тогда же Походяшин продает отцовскую бумажную фабрику в Туринске не кому-нибудь, а Ивану Ивановичу Панаеву (хотя — зачем губернскому прокурору бумажная фабрика?).

Ноябрь 1791 года — ликвидация Типографической компании. Май 1792 года — арест Новикова, конфискация всех его предприятий. Оставшийся

«в подозрении», но на свободе, Походяшин старается спасти его дело, его издания...

Не по уговору ли с Новиковым, чувствуя надвигающуюся грозу, пытается Походяшин зажечь от новиковского факела скромный светильник в провинции — в его родном крае? Не их ли содействию обязаны возникновением пермская и тобольская типографии, пытавшиеся продолжить новиковские традиции?

Ставя эти «некорректные» вопросы, я сам ежусь от смущения — уж очень зыбки основания для постановки их. Но ведь если мы будем бояться таких вопросов, то можем пройти мимо фактов, прямо относящихся к ним — фактов давно известных, но не поставленных в цепочку размышлений, и новых фактов, которые могут еще найтись.

И дело тут вовсе не в масонах и масонстве. А в том круге людей, идейно близких Новикову — рыцарях Золотого ключа уже не в масонском смысле, — причастных к волне культурно-просветительских начинаний, всплеснувшей в последнее десятилетие XVIII века у нас на Урале. В этот круг можно и должно включить и тобольского книгоиздателя Василия Корнильева, и пермского «торедорщика» Петра Филипова, и их единомышленников и последователей. А о том, что последующие поколения уральцев, послуживших на ниве просвещения родного края, свято чтили имя Николая Ивановича Новикова, свидетельствует хотя бы такой факт: биограф известного общественного деятеля Перми и библиографа Д. Д. Смышляева сообщает, что «портрет Н. И. Новикова всегда украшал его квартиру». Не каждый в то время решился бы повесить у себя портрет человека, в котором самодержавие всегда видело своего врага, а мы чтим как одного из замечательных русских людей — верного и истинного рыцаря Золотого ключа.



ВОКРУГ МАМИНА

Теперь уже трудно установить, с чьей легкой руки зародился такой жанр, но он существует давно, свидетельством тому — названия книг и статей типа «Вокруг Чехова», «Вокруг Толстого», «Вокруг Пушкина» и другие. Обычно это мозаика сведений и фактов, как-то связанных с именем замечательного человека, но не претендующих на что-то целое, исчерпывающее.

Однако такая мозаика помогает высветить слабо изученные места в биографии писателя или в творческой истории произведений, иногда взглянуть на них под новым углом зрения, а то и просто поразмышлять над чем-то.

Уральцы преданно чтят память о своем замечательном земляке, большом русском писателе Д. Н. Мамине-Сибиряке. С каждым годом растет интерес не только к его произведениям, но и к его жизни — ко всему о нем и *вокруг него*. Нам интересны его дружеские и деловые связи, пристрастия и вкусы, взгляды на общественные и литературные явления той эпохи; стали важны даже незначительные, на первый взгляд, детали истории создания произведений, творческая «кухня» писателя.

И это не случайно, не от простого любопытства, ведь вся жизнь Мамина — это жизнь не только писателя, но и радателя интересов края и его народа. А произведения его — не только занимательное чтение, но и целая энциклопедия большой эпохи

в истории Урала. Недаром о них так уважительно отзывался В. И. Ленин, а дооктябрьская «Правда» писала в некрологе: «Нарождаются новый читатель и новый критик, которые с уважением поставят твое имя на то место, которое ты заслужил в истории русской общественности».

6 КОПЕЕК ЗА СТРОЧКУ...

Мамин-Сибиряк был активным журналистом. Его всегда тянуло к газете. Если вначале приобщение к этой профессии было вынужденным — в голодное время учения в Петербурге пришлось зарабатывать на жизнь репортерскими заметками в случайных газетах, — то потом связи с периодикой стали как бы потребностью: публицистический запал требовал выхода. Список периодических изданий, в которых сотрудничал Мамин, включает десятки названий — столичных, приволжских, сибирских, уральских... Впрочем, уральских-то как раз очень мало, хотя именно в них ему и хотелось печататься в первую очередь — ведь все, о чем он писал, касалось прежде всего и больше всего родного ему Урала.

Конечно, Урал в то время был беден прессой: официозные «Пермские губернские ведомости» в Перми и «Екатеринбургская неделя» в Екатеринбурге. В 1886 году к ним прибавилась газета «Деловой корреспондент». Были еще «Епархиальные ведомости», губернские и уездные, но они не в счет. Однако главная причина крылась не в этом — ни с одной из уральских газет у писателя не сложилось отношений, прежде всего из-за расхождения во взглядах.

Особые надежды Мамин связывал с «Екатеринбургской неделей», где надеялся активно сотрудничать. Но газета попала в руки людей, представляв-

ших интересы горного ведомства, а с ними писателю, видевшему язвы горнозаводского дела на его родном Урале и поднимавшему свой голос против них, было не по пути. Многие годы он так и оставался лишь читателем «Недели».

Зато надежды вспыхнули вновь, когда в 1886 году редактором ее стал приехавший из Саратова журналист П. Н. Галин. Дмитрий Наркисович писал тогда матери: «Я там буду работать наконец. Целых восемь лет ждал возможности работать в своей газете... Как иногда достигаются трудно самые простые вещи! С этим письмом посылаю в «Неделю Екатеринбургскую» и свой первый очерк».

Это была большая статья «Кризис уральской горнопромышленности», напечатанная под псевдонимом NN в трех номерах газеты за 1886 год. Вскоре он опубликовал там два рассказа и несколько библиографических заметок.

Но не ради публикации рассказов стремился он в газету — рассказы его и так охотно печатали столичные издания. Дмитрия Наркисовича влекла туда возможность высказать в серии публицистических статей свои взгляды на экономическое положение современного ему Урала. На одну из страниц записной книжки того времени Мамин заносит обширный список тем «передовых статей», которые он собирался предложить «Екатеринбургской неделе».

Список показывает широту публицистических замыслов писателя. Здесь перечисляются такие темы, как «О съездах горнозаводчиков. О кустарных промыслах. О значении ярмарок. О статистике. Об уральском землевладении. О значении уральской истории. О башкирах. Об озерах. О пчеловодстве. О городском хозяйстве. О народном образовании. О благотворительности. О медицине: наука и практика. О земском хозяйстве. О золотопромышленно-

сти. О каменном мастерстве. О лесном хозяйстве. О каменном угле. О горнозаводских товариществах на казенных заводах, именно в Гороблагодатском округе. Об эмеритуре горных инженеров: где деньги, которые вносили рабочие монетного двора и другие. Судьба капитала Петрова, пожертвованного на воспитательный дом».

Такого списка тем газете хватило бы на целый год.

«Екатеринбургской неделе» было заманчиво за-получить в сотрудники широко известного писателя в надежде на будущие его рассказы, легенды, очерки, которые украсили бы газету. А тут — публицистика. Да еще на такие острые темы...

Темы, намеченные Маминым, в газете так и не появились. Но редакция стремилась удержать его... ну, если не любой, то, можно сказать, *повышенной ценой*. Этому нашлось неожиданное подтверждение.

Редактор «Екатеринбургской недели» П. Н. Галин имел обыкновение в конце года переплетать для себя комплект газеты. В него часто попадали и раз-меточные номера — те, на которых в редакции дела-лась разметка гонорара авторам. Теперь эти номера стали историческими документами — они позволяют установить авторство безымянных статей и раскры-вают псевдонимы.

После смерти Галина его комплекты оказались рассеянными по библиотекам Урала. На один из них я и набрел в отделе редкой книги Челябинской областной публичной библиотеки. И так получилось, что комплект открылся как раз на одном из разме-точных номеров. Да еще на странице, на которой жирно выведено: «*Мамин 6*». Напечатано это на статье «Сборник критических статей о Н. А. Некра-сове», под которой стоит подпись «Д. М-н».

Поскольку рукописи этой статьи не сохранилось, не встречается упоминания о ней и в переписке пи-

сателя, то исследователи с осторожностью — под вопросом — включали ее в список его произведений. То же самое можно сказать и о другой библиографической заметке — о «Всеобщей истории литературы» под редакцией В. Ф. Корша. Но теперь их можно включать в библиографию Мамина уже без знака вопроса — обе они помечены в комплекте его именем.

А цифра 6 здесь обозначает не что иное, как расценку для оплаты статьи — шесть копеек за строчку. Просматривая другие разметочные номера этого комплекта за 1886 год, убеждаешься, что по такой ставке больше никому не платилось, все материалы расценивались из расчета 2—3 и лишь иногда по 4 копейки за строчку. «Экстра-плата» в 6 копеек не так уж много значила при нерегулярном сотрудничестве, но зато свидетельствовала о внимании редакции к автору и поднимала его престиж в других изданиях.

Однако сотрудничество Мамина в «Екатеринбургской неделе» было недолгим — всеядность газеты, ее нежелание ссориться с горнопромышленниками и крупными купцами претили Дмитрию Наркисовичу. К тому же по поводу его статьи о кризисе уральской горнопромышленности в газете разгорелась дискуссия, в которой редакция заняла уклончивую позицию. Мамин отошел от газеты. Одно время он даже подумывал о создании вместе с группой близких ему людей своей газеты, но эта затея не увенчалась успехом.

ОТ НАШЕГО КОРРЕСПОНДЕНТА

В ноябрьской книжке журнала «Современный мир» за 1912 год критик Вл. Кранихфельд опубликовал статью, посвященную памяти недавно скончавшегося Д. Н. Мамина-Сибиряка. Поскольку покойный писатель многие годы был другом этого журна-

ла, то автор статьи построил ее на фактах связи писателя с журналом, который до 1906 года носил имя «Мир божий».

Надо сказать, что, несмотря на такое «религиозное» имя, журнал не имел к религии никакого отношения. В разные годы в нем сотрудничали такие писатели, как И. Бунин, В. Вересаев, М. Горький, Н. Гарин-Михайловский, А. Куприн, К. Станюкович, П. Якубович, известный библиограф Н. Рубакин. Здесь впервые на русском языке был опубликован роман Э. Войнич «Овод». В середине 90-х годов тут печатались статьи, ведущие борьбу с народничеством с позиций «легального марксизма». Они вызвали критику В. И. Ленина, однако Владимир Ильич относился к журналу с симпатией и в 1898 году опубликовал в нем рецензию на книгу А. Богданова «Краткий курс политической экономии».

Мамин-Сибиряк напечатал здесь многие свои произведения: три романа и около десятка рассказов и очерков. К журналу его привязывали не только литературные симпатии. Издательница «Мира божия» Александра Аркадьевна Давыдова после смерти жены писателя приняла на себя все заботы об осиротевшей Аленушке, можно сказать, заменила ей мать и надолго сделалась близким и необходимым другом дома Мамина. На материале писем к ней Дмитрия Наркисовича и была построена статья Кранихфельда.

Письма эти, взятые из архива дочери Давыдовой — М. К. Иорданской, Кранихфельд опубликовал не полностью, а только то из них, что ему казалось нужным для статьи. Но тех, кто после захотел бы прочитать письма целиком, ждало разочарование — их не было ни в одном из архивохранилищ литературно-исторических материалов.

Каково же было удивление, когда в 1957 году

в Ленинградской театральной библиотеке научный сотрудник ее Вера Львовна Штейншнайдер подала мне нетолстую папочку с надписью: «Письма Д. Н. Мамина-Сибиряка к А. А. Давыдовой». В нейто и оказались те самые письма, которые цитировал в «Современном мире» Вл. Кранихфельд.

В паспорте значилось: «Приобретено у Н. А. Дорингофской из собрания И. Ф. Мануйлова». Особенно странно здесь было видеть имя И. Ф. Манасевича-Мануйлова — посредственного драматурга, известного больше как сотрудника суворинского «Нового времени», чиновника департамента полиции и агента охраны, прожженного афериста и беззастенчивого вымогателя. Когда и как он прибрал к рукам эти документы — кто знает...

Теперь представлялась возможность прочесть письма полностью. Выяснилось, что многое Кранихфельд из них извлек и опубликовал. В том числе отзывы писателя о Чехове и ставшие общеизвестными теперь высказывания о детской литературе. Основное место в письмах занимают хлопоты о популяризации молодого еще тогда журнала и взволнованные заботы об оставленной в Петербурге «отеческой дочери» — Аленушке.

Но «за бортом» осталось еще много такого, что, может, и не имело общелитературного значения, однако имело значение для биографии писателя. Нельзя и сейчас без волнения читать эти письма, посланные в трудную для Дмитрия Наркисовича пору — еще не зажила рана, нанесенная смертью горячо любимой жены; на руках неизлечимо больная страшной болезнью двухлетняя дочь, лишенная материнской любви и ухода; непривычные и досадные заботы по домохозяйству; забота о хлебе насущном — дом требует денег... А нестерпимо тянет работать, работать, работать — столько замыслов, неокончен-

ных произведений, начатых еще на Урале, обещания и долги редакциям! Клубок мелких и важных дел, перемешанных так, что не поймешь, как его распутывать...

В апреле 1894 года Дмитрий Наркисович ездил в Москву и пробыл там почти три недели, ведя, как он писал, «разную интригу» с издателями и редакциями, устраивая свои произведения и выполняя просьбы А. А. Давыдовой о ее журнале «Мир божий». В июне—июле он отправился в Липецк и Усмань, где много и успешно поработал в спокойной обстановке над романом «Без названия», а в конце июля уже был в Москве.

Письма той поры еще ждут отдельной публикации и специального комментирования. Здесь же хочется остановиться на одном лишь письме.

19 апреля 1894 года Мамин пишет Давыдовой из Москвы: «В течение 2 1/2 недель, прожитых в Москве, я уже заработал более пятисот рублей» — и перечисляет: где, в каком издании, сколько. А далее — «Познакомился с издателем «Артиста» Новиковым и взял большую безымянную работу: отчеты о театрах, выставках и вообще по художеству. Я давно добивался именно такой работы».

Это уже дает интересную зацепку — искать, может быть, еще не известные нам произведения Мамина, напечатанные без подписи в журнале «Артист».

...Комплект журнала за 1894 год на столе. Но как и что там искать среди сотен безымянных материалов? Отчеты «о театрах, выставках и вообще по художеству» многочисленны и... однообразны, писались на один манер, как по трафарету. Остается одно — прикидывать, из какого города мог быть послан отчет.

Москва?.. Но там своих корреспондентов хватало, незачем привлекать для такой черновой работы по-

сторонних. Вернее, что Мамин брал задание от редакции на период поездки. А тут пункты останова известны — Усмань и Липецк. Усмань, уездный городок с десятком тысяч жителей, слишком мал для сколько-нибудь значительных выставок и приличных театральных трупп. Может, Липецк?..

Есть! В одной из двенадцати книжек журнала за тот год напечатана корреспонденция из этого города — в № 41 за сентябрь:

«Липецк. (От нашего корреспондента). Летний сезон в Липецке редко проходит без театральных представлений...»

Вообще-то говоря, отчет как отчет — по стандарту, принятому в журнале для такого рода корреспонденций: состав труппы, репертуар, кто что играет и как, материальные дела театра и тому подобное. Ничто не говорит о том, что корреспонденция написана уже известным в ту пору писателем-беллетристом. Но ведь для такого материала перлы стиля и не нужны — это всего лишь отчет, к тому же безымянный.

Однако, может быть, его написал кто-то из местных корреспондентов? Конечно, такая возможность не исключена. Но ведь за весь год лишь одна статья! Да и то не о зимнем — основном — сезоне, а о летнем, «дополнительном». Едва ли бы местный автор ограничился одной-единственной статьей.

А Мамин? Мамин вполне мог. В Липецке он был с 26 по 30 июня и еще дней десять в июле. В письме от 29 июня он пытается невесело пошутить: «Сейчас познакомился в саду с одной актрисочкой: хорошенькая...» Возможно, что знакомство с актрисой привело его в театр, к беседе с антрепренером, а затем и к отчету-корреспонденции в «Артисте».

Конечно, если бы даже нашлись несомненные доказательства принадлежности этого материала Мамину, в собрание сочинений его включать не станут.

Но биографам писателя и этот, пусть незначительный факт может быть интересен.

ЕЩЕ О «ЗОЛОТОПРОМЫШЛЕННИКАХ»

Мамин-Сибиряк всегда любил театр. Участь в семинарии, экономил пятаки, чтобы лишний раз попасть на галерку Пермского театра. Позднее в Нижней Салде сам участвовал в любительских спектаклях, в Екатеринбурге состоял членом совета драматического отделения музыкального кружка, дружил с актерами местных трупп. И, естественно, став писателем, не раз пробовал силы и в драматургическом жанре. Но сцену увидела лишь одна его пьеса — «Золотопромышленники», остальные так и не были закончены.

Да и «Золотопромышленникам» не повезло. Она прошла без особого успеха в Екатеринбурге, Казани, Иркутске и в Московском театре Корша. Она появилась и в печати (в журнале «Наблюдатель»), но составители так называемого «Полного собрания сочинений», изданного фирмой А. Ф. Маркса в 1915—1917 годах, пьесу в него не включили.

Лишь в советское время о пьесе вспомнили, и она с большим успехом прошла во многих театрах страны (впервые — в Свердловске в 1954 году). По ней был снят кинофильм «Во власти золота». Тогда же, естественно, усилился и интерес к истории пьесы.

А от истории-то к тому времени сохранилось не так уж много: две-три рецензии о екатеринбургской постановке и столько же о московской да несколько строк в переписке Мамина с родными. Неизвестна была даже афиша первого спектакля, и мы не знали всех участников его.

Тем радостнее была встреча в Центральном архиве литературы и искусства (ЦГАЛИ) с двумя до-

кументами, связанными с этой историей. То было заявление о принятии в члены Общества драматических писателей и композиторов и приложенная к нему программа первого спектакля. В заявлении Мамин писал:

«В Общество русских драматических авторов.

Прилагая при сем афишу написанной мной пьесы «Золотопромышленники» (сцены в 4-х действиях), покорнейше прошу принять меня в число членов Общества русских драматических писателей. Предоставляя Обществу охранение своего права драматической собственности, заявляю свою готовность подчиняться Уставу Общества и представляю свой членский взнос в размере 15 рублей.

Дмитрий Мамин (Сибиряк).

1887, 16 ноября, Екатеринбург.

Адрес: Екатеринбург, Колобовская ул., д. 41-й.

Дмитрий Наркисович Мамин». *

Интересна и афиша (вернее, театральная программа). Из нее мы впервые можем узнать имена всех занятых в спектакле артистов — в рецензиях упомянута лишь часть их.

Так, Молокова играл М. А. Михайлов (Дмоховский), известный в провинции, а потом и в Москве комик-буфф; его жену — М. К. Шаровьева, талантливая актриса, впоследствии приглашенная в Александринский театр; Елену Засыпкину — даровитая артистка Э. Ф. Днепров-Мерц, а ее муж В. М. Днепров исполнил роль Чепракова; адвоката Белоносова — сам антрепренер П. П. Медведев, неплохой комик-резонер; Ширинкина — многоопытный комик К. О. Суревич, Василия Воротова — популярный герой-любовник, хороший знакомый Мамина Я. С. Тинский, впоследствии актер столичных теат-

* ЦГАЛИ, ф. 316, оп. 1, ед. хр. 120.

ров. Роли няни и горничной играли второстепенные актрисы Пивоварова и Вейман.

Смотришь этот перечень и удивляешься — такие даровитые и опытные артисты, а спектакль получился неудачным. Почему?

Ну, уже хотя бы потому, что были завалены две главные роли пьесы. Явно не подходила к роли красавицы Анисьи толстая и неуклюжая жена антрепренера Е. П. Васильева-Вятская. А основную роль — Засыпкина — провалил актер В. А. Великанов, взявший пьесу для своего бенефиса.

И тут к месту вспомнить об особенностях одной давней традиции дореволюционного провинциального театра — о бенефисах, то есть спектаклях, сбор с которых шел в пользу артиста-бенефицианта и служил как бы неофициальной надбавкой к жалованью. Поэтому чаще всего актеры выбирали для бенефиса пьесы, сулившие хороший сбор. Старые театралы вспоминают, что с бенефисных афиш иногда прямо-таки «капала кровь» — чего стоили такие названия, как «Брат сатаны и сын дьявола», «Кровавая могила», «Демоническая тайна» и другие, подобные им. Готовились такие спектакли обычно наспех, на один раз — лишь бы сбор сорвать.

Вот и Великанов, артист бывалый, но рутинный, к серьезным ролям непригодный, выбрал пьесу для бенефиса не без хитрого умысла. Екатеринбург был известен как «золотой город», резиденция многих золотопромышленников. Как видно из рецензии, они-то и клюнули на эту приманку: «Многие заинтересовались новой пьесой, в надежде, не списал ли Д. Н. Мамин свою бытовую хронику с «натуры», то есть не пустил ли кого-нибудь «в комедию» из золотопромышленников». Театр был, что называется, битком набит. А только этого и надо было бенефицианту. Кое-как поставленная за несколько дней пьеса

его больше не интересовала — сбор был у него в кармане. К тому же в городе уже знали из рецензии, что «г. Мамин никого не задевает» (интересно заметить, что автором «кислой» рецензии в местной газете был... чиновник полицейского управления Архангельский, скрывшийся для пущей конспирации под псевдонимом «Приезжий», а Дмитрий Наркисович об этом так и не узнал — это стало известно лишь не так давно).

Нечто подобное произошло и в Московском театре Корша — спектакль не спасло и участие в нем таких актеров, как В. Н. Давыдов, А. Я. Глама-Мещерская, Л. И. Градов-Соколов — пьеса и здесь ставилась для бенефиса второстепенного актера Н. И. Валентинова.

ЗАПИСКА

В автографах замечательных людей есть что-то волнующе притягательное. И не потому только, что он может открыть неизвестный ранее факт из биографии выдающегося человека или позволит по-новому прочесть какое-то общеизвестное его произведение. С интересом вглядываешься в почерк, пытаешься уловить настроение, с каким писались эти строки, и обстановку, сопутствовавшую им. Вглядываешься в бумагу, на которой они написаны: наспех вырванный из тетради листок или добротный глянцевый бланк «заказной» почтовой бумаги с вензелем автора — за этим угадываются пристрастия и вкусы человека, обстановка его быта.

Кто видел рукописи Мамина-Сибиряка, несомненно, отметит четкий и неизменно аккуратный его почерк, свидетельствующий о ровности характера, о привычке к аккуратности, привитой еще в детстве в семье. Читать его одно удовольствие.

Рукописей Мамина-Сибиряка мне довелось поддерживать в руках немало — и черновики его произведений, и писем разных лет, и записных книжек, и просто почеркушек. И везде почерк был примерно одинаков и не составлял для прочтения никакого труда. Это говорило об уважительном отношении к написанному слову, к человеку, который будет читать адресованные ему строки.

Вот уже много лет я бережно храню небольшой листок — записочку Мамина-Сибиряка. Это не отрывок из рукописи какого-то произведения и не письмо, которое представляло бы интерес для биографии писателя, а просто лишь записка в книжный магазин с просьбой выдать несколько экземпляров поступивших в продажу его книг. Но она дорога мне возможностью как бы интимного общения с любимым писателем, с человеком, жизнь которого меня всегда интересовала как пример служения и преданности родному краю.

Записка набросана на «секретке» — так назывался забытый ныне вид почтового отправления: сложенный вдвое листок с перфорированной по периметру каймой.

На внешней стороне секретки стоял адрес:

«В книжный магазин «Русской мысли» — Никитская», а на обороте текст:

«17 марта 98 г.

Москва, номера «Петергоф».

Милостивый государь.

Будьте любезны, передайте моему посыльному по 15 экз. «Хлеба» и «Охонинных бровей». Утром я говорил об этом с Иннокентием Федоровичем.

Д. Мамин-Сибиряк».

И все. Ничего особенного. Мало ли каких записок напишет за свою жизнь человек. А мне этот листочек дорог. Почему? Кто хочет понять — поймет...



ЗАБЫТАЯ ДРУЖБА

Среди круга друзей и близких знакомых Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка в период его жизни в Екатеринбурге (1878—1891) чаще всего упоминают имена, названные его первой женой М. Я. Алексеевой в беседах, записанных В. П. Чекиным в 1913 году и А. И. Шубиным в 1921 году*. Это юристы Н. Ф. Магницкий, И. Н. Климшин и М. К. Кетов, податной инспектор А. А. Фолькман и местный литератор Н. В. Казанцев. Остальные знакомства Мария Якимовна назвала «преимущественно шапочными».

Но круг близких знакомых был, конечно, значительно шире. Мамин, общительный человек, жадный до интересных людей, имел в Екатеринбурге немало близких знакомств, которые можно, а иногда и необходимо, назвать дружбой. Сам бы он, несомненно, так и сделал.

Так, известно, что он просиживал целые вечера у музыканта Владимира Ивановича Мещерского, сына старого капельмейстера горного оркестра, игравшего еще при генерале Глинке. Часами любил беседовать о старообрядческой старине с Феклушкой, старушкой-приживалкой у Казанцевых, они были даже на «ты» и трогательно заботились друг о друге. С Иваном Васильевичем Поповым, большим зна-

* Напечатаны в кн.: Д. Н. Мамин-Сибиряк в воспоминаниях современников. Свердловск, 1962.

током края, писатель много ездил по Уралу, да и дома они не могли долго прожить друг без друга. Ценил Дмитрий Наркисович дружбу с врачом-подвижником Б. О. Котелянским, с краеведом-библиографом П. М. Вологодским. Все более сближался с тянувшимся к нему художником и камнерезом, пропагандистом уральского камня А. К. Денисовым-Уральским. Тесно общался с актерами местной труппы.

Все это были разные люди, по-разному интересовавшие писателя — и как интересный типаж для будущих произведений, и как источник информации о прошлом и настоящем края, и как друзья дома, помогавшие проводить вечерний досуг в беседах о литературе, о местных новостях, о событиях в стране и в мире, в шутливых импровизациях и остроумных спорах.

Но в эти же годы у Мамина завязалась дружба с человеком, оставившим большой след в его душе и к которому он всегда питал чувство привязанности, почтительного уважения к его взглядам, к делам его жизни.

Имя этого человека Александр Александрович Ольхин. Та же М. Я. Алексеева упоминала о нем, но как-то вскользь, а другие воспоминатели об этом друге Мамина умолчали, будто его и не было. Впрочем, причина, пожалуй, понятна — афишировать знакомство с политическим ссыльным не всем в то время представлялось желательным и удобным.

В рассказе о екатеринбургских друзьях писателя Алексеева говорит об Ольхине кратко: «Трудно забыть Ольхина, сосланного в Екатеринбург, автора удачного либретто для оперы, не напечатанного по цензурным условиям». И все. Почему именно *трудно забыть* — не досказала...

Санкт-Петербургский присяжный поверенный Александр Александрович Ольхин был сослан в Шадринск в начале 1880 года. К этому времени за ним накопилось уже немало деяний, позволявших царским властям считать его опасным для существующего строя.

Жизнь Ольхина поначалу складывалась так, что ничто в ней не предвещало такой ситуации. Родился он в семье видного военного деятеля, артиллерийского генерала, владельца обширного родового имения Белоостров (ныне город Ленинградской области). Домашнее воспитание под руководством солидных педагогов. Привилегированное учебное заведение — Александровский лицей, со времен Пушкина готовивший кадры высшей бюрократии для правительственных учреждений. Многообещающее начало карьеры — служба в Министерстве иностранных дел, ответственная должность консула в Варне, бывшей тогда форпостом военной политики России на Балканах.

Затем, в 1865 году, первый неожиданный шаг — отставка с казенной службы и выдвижение своей кандидатуры в мировые судьи. Четыре года службы на этом непрезентабельном, с точки зрения людей его круга, посту, на котором он «обратил на себя внимание тенденциозностью своих решений», как значилось в полицейских донесениях. Знакомство с участниками революционно - демократических кружков Петербурга. И новый, теперь уже более закономерный шаг — определение присяжным поверенным. Но не для того, чтобы витийствовать на громких уголовных процессах, служивших своеобразными представлениями для «чистой» публики столицы. Безымянный автор некролога в «Историческом вестнике» (1898, кн. 1), несомненно близко знавший Александра Александровича, писал о его деятельности в этой

роли: «Как адвокат, Ольхин не был величиною первого разряда, в его формуляре не значится шумных и сенсационных процессов... Это был деятель, что называется, «рядовой», но сердечный и в высшей степени гуманный».

По цензурным условиям автор некролога умолчал о деталях этой *рядовой* деятельности — об участии в защите по громким политическим процессам тех лет по делу «нечаевцев» (1871), по делам революционного народника Дьякова (1875), участников демонстрации у Казанского собора (1877), по делу «50-ти» (1877), наконец, по особо громкому делу, взволновавшему всю страну — делу «193-х» (1878). Имена некоторых защитников вошли в историю этих процессов наряду с именами их подзащитных — такие выступления на суде часто являли собой не только акт гражданского мужества в условиях черной реакции, но и были свидетельством вполне определенной политической направленности.

Не мудрено, что с таким «штатным» политическим защитником власти поспешили расправиться при первом же удобном случае. В ноябре 1879 года его наспех присоединили к делу Мирского и Тархова, обвинявшихся в покушении на шефа жандармов Дрентельна. Обвинения, предъявленные Ольхину, были столь бездоказательны и нелепы, что суду пришлось его оправдать.

Но это — суд, который руководствовался при этом хоть какими-то да законами. А у властей имелись в распоряжении средства, не требующие ссылок на законы и права, — административная ссылка. К этому спасительному средству и прибегло Министерство внутренних дел, отправив Ольхина сначала в Яранск, Вятской губернии, а потом подальше — в зауральский городок Шадринск.

Конечно, участие в защите по политическим про-

цессам само по себе не могло служить причиной для преследований. Большинство адвокатов после процессов спокойно продолжали свою обычную деятельность, тем более что далеко не все из них разделяли политические взгляды своих подзащитных. Но за Ольхиным к этому времени числилось уже немало других крамольных деяний.

В делах охранного отделения накопилось толстое досье донесений о связях «неудобного» адвоката с революционно-демократическим движением. Не принадлежа формально к революционной партии народников «Земля и воля», Ольхин был тесно связан с ее деятелями, оказывал организации ряд важных услуг, сотрудничал в ее нелегальных печатных органах «Начало», «Земля и воля». Об этом тепло писал в своих воспоминаниях известный революционер Н. А. Морозов-Шлиссельбуржец*.

Выразительную характеристику давал Ольхину департамент полиции в своей служебной справке: еще с 1878 года он стал «появляться в самых темных кружках, знавших с подонками общества, и в этой темной среде читал и пел революционные песни, иногда даже сочинял их. Так он сочинил переделку «Дубинушки» в самом возмутительном духе и просил доставлять ему песни, поющиеся между фабричными, чтобы переделывать их на революционные»**

«Дубинушка» тут упомянута не случайно. Как свидетельствуют исследователи, переделка Ольхина «значительно усилила революционную направленность стихотворения». Стихотворения, ставшего на

* Морозов Н. А. Повести моей жизни. т. III и IV. М., 1932.

** Опубликовано во вступительной статье В. Петровского к книге С. М. Кравчинского «Смерть за смерть», 1920, с. 9—10. «Подонками общества» полицейские стилисты называли здесь рабочих.

долгие годы популярнейшей революционной песней. Ее пели и на рабочих маевках, и демонстрациях, и в тюремных камерах, и даже — в смягченном варианте... на концертной эстраде — ее с успехом исполнял Федор Иванович Шаляпин.

Как революционный поэт, Ольхин был известен не только «Дубинушкой». Его стихи печатались в легальной и нелегальной прессе, перепечатывались в подпольных типографиях, на гектографах и mimeографах, распространялись в числе «потаенной» литературы. Особенно показательны в этом отношении его стихотворения: «У гроба», посвященное казни революционерами шефа жандармов Мезенцева; проникнутое революционным пафосом, воспевающее идеал поэта-гражданина стихотворение «Нашим поэтам»; широко популярное в революционных кружках и посвященное Н. А. Морозову «Мыслью отзывчивой, чуткой душою...» и другие.

Всего этого было вполне достаточно власть предержащим, чтобы упечь такого одиозного человека подальше от столиц.

Ольхин знал, что в Шадринске ему придется задержаться надолго, поэтому приехал сюда с семьей (забегая вперед, скажем, что здесь он похоронил горячо любимого друга — жену). Нашел удобную квартиру, присмотрелся к жизни провинциального городка. Но его неугомонная натура сказалась уже в первые месяцы: в мае того же года Ольхина арестовали «за произнесение дерзких слов против особы государя-императора» и посадили в одиночку местной тюрьмы, где он и просидел целый месяц, ожидая решения своей участи. До суда дело как-то не дошло, но срок ссылки был увеличен еще на два года, сверх четырех, назначенных ранее.

Шадринцам он понравился и запомнился. В 1930—1940-х годах В. П. Бирюков записал со слов

старожилов несколько интересных рассказов о пребывании Ольхина в Шадринске. Из них видно, что Александр Александрович устраивал лекции для взрослых и для детей на естественнонаучные и исторические темы, участвовал в любительских спектаклях, оказывал юридическую помощь крестьянам в их судебных тяжбах с землевладельцами. Выезжал и в Екатеринбург, где завел связи с редакциями газет.

Вероятно, именно в это время он и познакомился с Маминым-Сибиряком (хотя не исключена возможность, что они познакомились в Петербурге в конце 1870-х годов, когда родственник писателя Гавриил Алексеевич Мамин проходил по делу «193-х», на котором Ольхин был защитником). Но в январе 1887 года, когда еще не кончился срок ссылки у Ольхина, они уже были знакомы. Об этом свидетельствует неопубликованное письмо Мамину от 16 января в ответ на его просьбу принять на себя хлопоты по делу о земле какого-то крестьянского общества. Примечательно, что Мамин обратился именно к нему, хотя среди его друзей дома — три юриста!

«Не отвечал Вам сразу, Дмитрий Наркисович, потому что не сразу решил, как поступить. Дело настолько серьезно, что взяться за него было бы в высшей степени интересно. Но все же я пришел к заключению, что с моей стороны правильнее устранить себя от него», — пишет Ольхин. И далее объясняет причину — дело потребовало бы частых выездов представителя крестьян к нему в Шадринск, из которого он сам пока отлучаться легально не может. «Из Вашего письма видно, что дело очень путаное, так что, пожалуй, и десятки свиданий ни к чему не приведут, а потребуется поездка доверенного в разные города». Поэтому Ольхин рекомендует или обратиться к его доброму знакомому, петербургскому юристу В. Н. Герарду, или ожидать конца ссылки, когда

Ольхин сам может официально принять дело к ведению его на суде. «Срок моей ссылки оканчивается 9-го сентября. Так как за нею последует еще по крайней мере год «негласного надзора» и в это время за-прещается въезд в столицы, то я думаю провести этот год или больше в Екатеринбурге. Тогда я получу все свои права, в том числе право защищать дела и передвигаться куда вздумается» *.

Письмо Мамина, из которого можно было бы понять суть этого дела, к сожалению, не найдено.

Но в Екатеринбурге Ольхин появился несколько раньше указанного им в письме срока. Об этом, как и о его занятиях в городе в последующие месяцы, можно узнать из протоколов собраний Уральского общества любителей естествознания (УОЛЕ) и заседаний его комиссии по устройству Сибирско-Уральской научно-промышленной выставки (опубликованы в «Записках УОЛЕ», т. X, вып. 1—4).

Уже 30 июля 1887 года Ольхин упомянут в протоколе общего собрания членов УОЛЕ в числе приглашенных гостей. Через неделю, 6 августа, опять присутствует на общем собрании, вместе с Маминым. 6 сентября и 8 октября участвует в заседаниях комиссий по выставке уже как представитель газеты «Деловой корреспондент». И так далее. По-видимому, к этому времени правовое положение Ольхина упрочилось — сам губернатор включил его в состав одной из комиссий выставки, с упоминанием его звания присяжного поверенного. Участвовал в этих комиссиях и Мамин.

В конце года, вероятно, в декабре, Александр Александрович переехал в Нижний Новгород. Значит, екатеринбургский период его жизни ограничива-

* Публикуемые здесь письма А. А. Ольхина хранятся в отделе рукописей Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина, ф. 157, п. 3.

ется июлем — декабрем 1887 года. Но именно эти пять-шесть месяцев и стали временем тесного сближения Мамина и Ольхина, которое перешло в преданную дружбу, длившуюся до самой смерти Ольхина в 1897 году.

Свидетельств об их отношениях в ту пору почти не осталось. Причины тут могут быть разные. И в первую очередь «политическая неблагонадежность» Ольхина. Вполне благонадежные старые друзья Мамина, вероятно, относились с опаской к его новому другу, а может, и ревновали к нему, видя, что в этой дружбе писатель более заинтересован, чем в приятном, но легковесном времяпрепровождении с ними.

Несомненно одно — что общение в эти месяцы было тесным и взаимообогащающим. Переехав в 1891 году в Петербург, Дмитрий Наркисович спешит разыскать Ольхина, еще не зная, что Ольхин, проведая о приезде Мамина, сам ищет старого друга. В один и тот же день, 9 сентября, они обменялись письмами.

Ольхин писал: «Случайно узнал о Вашем приезде в Петербург и почти случайно ваш адрес. Жалею, что не застал, п(отому) ч(то) живу не в самом Питере, а по соседству, куда и извольте пожаловать. Желаю Вас видеть, буду на этот раз считаться визитами. Мой адрес: Финл(яндская) ж(елезная) д(орога), станц(ия) Белоостров. Там живу теперь зиму и лето. Если наперед уведомите о дне, выеду к Вам на встречу, иначе придется проехать 3 версты на извозчике.— В городе бываю редко и всегда на самый короткий срок по делам. Подробности при свидании. Крепко жму Вашу руку. А. Ольхин».

Мамин отвечал: «Дорогой Александр Александрович, душевно был рад найти Вашу записку на своем письменном столе, ибо искал Вас и не нашел. Писал нарочно доктору Караваеву, с просьбой сооб-

шить Ваш адрес, но ответа не удостоен... Живу в Петербурге уже с марта месяца и очень жалею, что раньше не узнал Вашего адреса, потому что все лето прожил в Лесном и с удовольствием съездил бы к Вам в Сестрорецк. А сейчас я до того завален работой, что в буквальном смыследохнуть некогда.

Дома я почти постоянно, а если Вы соберетесь ко мне, то известите записочкой, и я буду Вас ждать и душевно буду рад Вас видеть.

Жму Вашу руку.

Д. Мамин.

Кстати, есть к вам и дело. Редакция «Русских ведомостей» издает сборник в пользу голодающих, и недавно мне писал проф. Анучин, что у них недостает стихов, а поэтов в Москве нет, и поэтому просил обратиться к питерским поэтам. Вот не найдется ли у Вас чего-нибудь, а то и нарочно сочините» *.

Сборник такой вышел («Помощь голодающим». Научно-литературный сборник. Изд. «Русских ведомостей». М., 1892). Стихов Ольхина в нем нет. А Мамин дал для него легенду «Лебедь Хантыгая».

Легенда заинтересовала Ольхина. Сразу же после выхода сборника он пишет автору (в январе 1892 г.): «...Я с огромным наслаждением прочитал Вашего «Лебедя Хантыгая». Прелестно! А легенда до того хороша, что становишься в тупик. Скажите, строго ли Вы придерживались предания? Меня смущает тип хакима Ургуудзля. Он слишком высок и недостаточно правоверен для башкира. Да и почему он остается аскетом при своем деятельном гуманитарном взгляде на жизнь? Если Вы его создали сами, то признавайтесь, а если он взят Вами из настоящей народной легенды, то я просто теряюсь и должен предположить,

* Письма Д. Н. Мамина-Сибиряка к А. А. Ольхину хранятся в отделе рукописей Пушкинского дома (ИРЛИ АН СССР), ф. 93.

что у башкир была когда-то очень высокая цивилизация и что они прожили Золотой век, подобный арабскому. Подробно поговорим при встрече, а пока да немедленно отпишите на Морскую, 26:1, о здоровье Мар(ии) Мор(ицевны) и 2, о подлинности Ургуудзля. Жму Вашу руку...»

Дома у Маминых в те дни царила тревожная обстановка — жена писателя Мария Морицевна готовилась стать матерью. Врачи предполагали трудные роды. Поэтому в начале письма Ольхин, как мог, успокаивал друга.

28 января Мамин отвечал ему: «Дорогой Александр Александрович, мы все еще находимся в ожидании, хотя и было уже несколько тяжелых дней, как тот, в который Вы были у нас. Очень благодарны Вам за внимание и немедленно известим, когда все разрешится.

Затем, относительно «Лебедя Хантыгая», я должен признаться, что позаимствованы мной только одни собственные имена, а содержание придумано от первого до последнего слова мной. Легенда не вытанцевалась по известной уже Вам причине не доканчивать статьи вообще, а в частности еще потому, что я писал ее для сборника в пользу голодающих и ужасно торопился, ибо имел в распоряжении всего один день. В такой короткий срок трудно написать так, как хотелось бы, тем более что легенда претендует на некоторое философское значение. Собственно, не вытанцевался конец, третий хаким Ургуудзль. В проекте легенды лежала основной мыслью тенденция, что всякое личное самоусовершенствование основывается на эгоизме и на желании быть лучше других, а это ведет к таким мелочам в великом деле спасения и совершенствования, как вопросы об одежде, еде и пр. Затем, хотелось еще сказать по поводу гордыни человеческого разума, который слишком уж много по-

лагается на свою силу, но это так, мимоходом, а главное — эгоизм спасения. Светлое чувство сказки у нас совершенно утрачено, а им только и сильна истинно здоровая философия. Смешно думать, что делать, когда кругом столько нищеты, горя и слез. Цель жизни так проста и не требует никаких хитро-сплетенных рассуждений. Может быть, все это очень по-детски, но мне лично такое воззрение более понятно. Каждый человек делает решительно все, чтобы испортить жизнь и себе, и другим, потому что думает только о себе. Впрочем, я плохой философ, а сейчас развелось так много всяческой философии, что трудно даже разобраться.

Маруся Вам кланяется. Жму Вашу руку. Д. Мамин».

Не будем останавливаться здесь на идее маминской легенды и на толковании ее писателем в письме. Отметим лишь, что тут можно видеть внутренний спор с религиозно-нравственными сочинениями Льва Толстого тех лет, где идея спасения через самоусовершенствование противопоставлялась идеям революционной борьбы и что подобный же спор ведется в стихотворении Ольхина «Нашим поэтам». Остановим внимание на другом — Ольхин в письме зорко подметил то, что не заметили в легендах Мамина критики: их условную фольклорность как способ изложения своих мыслей. Когда легенды вышли отдельным изданием, рецензент одного из наиболее солидных литературных журналов — «Русской мысли» — писал о них: «Мамин-Сибиряк передает стародавние сибирские сказания, в которых вымыслы народной фантазии тесно переплетаются с подлинными историческими преданиями, сохранившимися в памяти зауральских инородцев».

И тут кстати привести письмо Мамина редактору «Русской мысли» В. А. Гольцеву с объяснениями по

поводу рецензии: «Ваш рецензент, разбиравший мои легенды, и обидел меня и превознес. Обидел потому, что приписал мне только роль собирателя, а превознес тем, что не мог отличить авторского сочинения от народного творчества — ergo, автор постиг самый дух...» *

Увлеченный обмен мнениями о легенде в дни, столь тревожные для Мамина, вероятно, не случаен. «При встрече поговорим...» О чем? Есть предположение, что Ольхин намеревался писать на сюжет легенды либретто оперы. В те же примерно дни Дмитрий Наркисович писал матери в Екатеринбург: «Рубинштейн присылал ко мне одного из своих адъютантов за легендой о Кучуме, из которой хочет сделать оперу... Выйдет из этого что-нибудь или не выйдет — трудно сказать» **.

Возможно, что, когда встал вопрос о либретто оперы, Мамин привлек к его созданию Ольхина (что и отразилось в позднейших воспоминаниях М. Я. Алексеевой). Однако дело с оперой заглохло — А. Г. Рубинштейн уехал на гастроли в Америку, а для Мамина вскоре наступили тяжелые дни, надолго выбившие его из творческой колеи: 21 марта родилась дочь Аленушка, а на другой день умерла ее мать, Мария Морицевна. Горе Дмитрия Наркисовича было беспредельным...

Лишь месяц-два спустя он начал приходить в себя. Ольхин не оставлял друга в эти тяжелые дни. 8 мая Мамин писал ему: «Благодарю сердечно за посаженные ивы (на могиле Марии Морицевны. — Ю. К.) и вообще за то внимание, с каким Вы относились всегда ко мне. Сегодня хотел быть у Вас, но нельзя, потому что в 2 часа открытие памятника Надсону на

* Опубликовано в «Архиве В. А. Гольцева». Т. 1, 1914.

** Мамин-Сибиряк Д. Н. Собр. соч. в восьми томах. Т. 8, 1955, с. 663.

Волковым, о чем и спешу Вас известить. Приезжайте туда, а оттуда отправимся куда-нибудь пообедать...»

О том, что писатель к этому времени уже смог вернуться к литературным делам, свидетельствуют последующие строки этого же письма: «...Дело с Михайловским расклеилось. Он назначил мне свидание у Станюковича и не явился, а Станюкович заявил мне, что печатание моего романа в «Рус(ском) бог(атстве)» немыслимо: и места нет, и денег нет. Одним словом, дело сорвалось и они же потом пожалуют о нем».

Здесь речь идет о романе «Хлеб», над которым тогда работал Дмитрий Наркисович. Что роман еще не был закончен, а писатель уже предлагал его в печать, объясняется особенностями творческой работы Мамина-Сибиряка: «Я разучился писать большие вещи зараз, а писал последние годы «к книжке» (очередному номеру журнала.— Ю. К.) — признавался он как-то в письме к В. А. Гольцеву.

В творческой истории романа «Хлеб» тот факт, что Мамин предлагал его «Русскому богатству», не нашел отражения. Более того, авторы биографической книги «Певец Урала» (Свердловск, 1969), Б. Удинцев и К. Боголюбов прямо утверждают, что писатель и не предлагал его этому журналу. Между тем это факт немаловажный. Журнал «Русское богатство» и его идейный руководитель Н. К. Михайловский, которые считались «покровителями» Мамина, под неубедительным предлогом отказались печатать роман, и, пожалуй, именно с этих пор началось постепенное охлаждение писателя к журналу. Редакция не случайно отказалась печатать роман, рисующий стремительное вторжение капитализма в русскую деревню — это противоречило идейным воззрениям вождей либерального народничества.

В это лето Мамина особенно тянет к Ольхину.

Свидетельств их общения почти не сохранилось — живя в одном городе, им не было нужды часто переписываться. Но и те немногие письма, что дошли до нас, говорят о все более тесном сближении. 10 июля 1892 года Мамин пишет: «Дорогой Александр Александрович, пишу Вам, потому что очень и очень соскучил(ся) о Вас. Где Вы? и что Вы?.. Не приедете ли Вы ко мне погостить на денек, на два — в моем распоряжении целая дача... Кстати, и музыку послушали бы. А затем, мне серьезно необходимо посоветоваться с Вами относительно пиэс *, которые хочу пускать осенью в ход: на себя как-то не полагаюсь, потому что слишком много работал для них и потерял всякий критерий. Но и помимо этой эгоистической цели просто желал бы видеть Вас, как своего человека».

Ольхин стал для Мамина своим человеком, как это видно из приводимого письма, не только как доброжелательный друг дома, а и как друг, с которым «необходимо посоветоваться» о том, о чем не с каждым советуются — о достоинствах новых произведений. И едва ли тут речь шла только о форме их.

Но и Ольхин считал необходимым советоваться с Маминым, как опытным литератором. Об этом говорит хотя бы письмо от 14 ноября 1895 года: «Дорогой Дмитрий Наркисович, приезжайте в комиссию в пятницу 17-го ноября в 8 часов вечера. Собираются у меня. Вас все желают видеть в нашей среде, тем более что на этот раз зайдет речь об издании сборника и Вы его предполагаемый редактор. Я от души рад Вашему согласию. Оно не только будет полезно для вечера и дорого лично мне. Вы знаете, как я Вас люблю; Ваше отсутствие меня бы огорчило, несмотря на всю готовность искренне согласиться с Вашими дово-

* Так Мамин нередко называл свои небольшие произведения.

дами. Пусть это лирическая блажь. Теперь я могу об ней говорить».

Что за комиссия, в которую приглашает Ольхин Мамина, что за «наша среда», где хотят его видеть, о каком сборнике идет речь — пока, к сожалению, не выяснено. Сборник, очевидно, не состоялся — по крайней мере в библиографических указателях за годы 1896—1897 не значится такого, где бы встретилось имя Ольхина или Мамина.

Это письмо — последнее из известных пока документальных свидетельств о связях Мамина-Сибиряка и Ольхина. Жаль, что их мало и мы не можем более обстоятельно раскрыть историю этой дружбы, важной страницы в биографии писателя. Как-то так получилось, что его биографы, уделив пристальное внимание взаимоотношениям с представителями либерального народничества, прошли мимо столь значительного факта дружбы Мамина с ярким представителем революционного народничества. Будем надеяться, что этот пробел будет заполнен.

Александр Александрович Ольхин умер 22 ноября 1897 года. Мамин тяжело пережил смерть друга. Через несколько дней — 25 ноября — он писал матери, Анне Семеновне: «Вчера был на панихиде у А. А. Ольхина. Он умер от болезни сердца, продолжавшейся года три. Мне ужасно его жаль. Очень уж хороший был человек, хотя многим и не нравился своей иногда излишней искренностью».

«Излишняя искренность»... Бывает ли такая? За этими словами слышится неприкрытая ирония Дмитрия Наркисовича в адрес людей, не понявших красоты прямодушия своего друга.

К тому времени прошло уже десять лет, как Ольхин покинул Екатеринбург, где прожил всего лишь полгода. Но здесь его продолжали помнить. Газета «Урал» в номере от 6 декабря дала некрологи-

ческую статью за подписью Старого оптимиста (Н. В. Казанцева), в которой тепло вспоминалось о жизни ссыльного Ольхина на Урале, о его дружбе с Маминым-Сибиряком. Автор статьи не упоминал при этом о «Дубинушке», но в те годы она уже была широко известна на всем Урале.



РЕКОНСТРУКЦИЯ ОДНОЙ СУДЬБЫ

Из сотен черепков, найденных при раскопках стоянки древнего человека, археолог склеивает — реконструирует — кувшин, которым пользовались наши далекие предки. Архитекторы-реставраторы по старым чертежам, зарисовкам и обмерам воссоздают первоначальный облик исторического сооружения.

Реконструировать, восстанавливать можно и судьбы людей. И даже должно, если это касается несправедливо забытой личности.

До обидного неудачно сложилась посмертная судьба уральской писательницы Елизаветы Гадмер. Не прошло и полвека со дня ее смерти, а лишь кое-кто из литературоведов помнит, что была такая. А если посмотреть то немногое, что печаталось о ней за истекшие годы, то окажется, что все это как-то неполно, противоречиво, а порой просто путано и ошибочно. Не опубликован (да и не собран) список ее хотя бы основных произведений, а только отдельных изданий их насчитывается около двух десятков. Нет связной и более или менее полной биографии, не были известны ни место рождения писательницы, ни год и место ее кончины. Даже отчество называлось по-разному — одни величали Саввишной, другие Савельевной, третьи Савиновной...

Правда, шумный успех и громкая известность не сопутствовали Елизавете Гадмер и при жизни. Да и сама-то жизнь не баловала ее. Но современники чи-

тали и знали ее, особенно в кругах учащейся молодежи и демократически настроенной интеллигенции. Ее негромкий голос был теплым и искренним, проникнутым любовью к людям труда, к родному Уралу, ненавистью к угнетению и несправедливости, сочувствием борцам за народное счастье.

А вот забыта... И дело не в том, чтобы сейчас, спохватившись, начать многократно и многотиражно издавать и переиздавать ее произведения (хотя выпустить «изборник» следовало бы!), а в том, чтобы сохранить благодарную память об этой скромной труженице литературной нивы той глухой поры конца прошлого — начала нынешнего века, когда Урал был еще так небогат прогрессивными культурными силами. И в том, чтобы отвести писательнице заслуженное ею место в истории литературного процесса на Урале, в которой еще немало белых пятен.

К счастью, сохранилось главное, что дает возможность сделать это — ее публикации, ее книги. И хотя ни в одном из книгохранилищ страны нет полного комплекта их, но издания, отсутствующие, скажем, в Ленинской библиотеке в Москве, дополняются наличием их в других библиотеках. А по комплектам периодических изданий возможно восстановить и то, что не вошло в ее книги.

Сложнее с биографическими материалами. Личный архив писательницы так и не найден, по-видимому, безвозвратно утрачен. Но кое-что (и немало), оказывается, можно найти. И даже совсем близко. Например, в Свердловском литературном музее имени Д. Н. Мамина-Сибиряка хранится подробная автобиография (точнее, пожалуй, назвать ее воспоминаниями), написанная в начале 1930-х годов, и около двух десятков писем этого же периода, а также ряд стихов-автографов.

Есть материалы в Государственном архиве Сверд-

ловской области (в фонде В. П. Бирюкова), в отделе рукописей Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина (в фонде В. Д. Бонч-Бруевича), в Пушкинском доме АН СССР (в фонде С. А. Венгерова), в Ленинградской театральной библиотеке (в фонде драматической цензуры)... Если поискать потщательнее, так и еще кое-где найдется. Да поскорее бы поискать, пока не пропало бесследно, как это случилось в одной свердловской семье, где с давних пор лежали письма, рукописи, фотографии и книги писательницы — архив этот сгорел при пожаре.

Однако уже то, что оказалось доступным для ознакомления, позволяет изложить основные вехи жизни и творчества Гадмер, реконструировать, хотя и с пробелами, ее судьбу.

Елизавета Гадмер родилась 4 октября 1863 года далеко от Урала — в станице Лепсинской Семиреченской области (ныне районный центр Талды-Курганской области Казахской ССР), куда обстоятельства занесли ее отца-уральца в поисках дела по душе. Родившуюся в этих скитаниях дочь называли именем матери — Елизаветой.

Ее отец был сыном известного в истории уральской горнозаводской промышленности демидовского крепостного Клементия Константиновича Ушкова, автора талантливо решенного проекта гидротехнического сооружения — знаменитой Черноисточинской водной системы и других смелых по тому времени проектов. Сыну передалась изобретательская жилка отца, пристрастие к смелым проектам и начинаниям, неугомонность натуры, но не достались его практическая сметка и деловая хватка, которые помогли Клементию Ушкову стать, оставаясь крепостным, одним из богатейших людей Нижнего Тагила. Как и отец, сын тоже вечно что-то задумывал, проекти-

ровал, организовывал, но, в отличие от него, редко доводил дело до конца. Поэтому не мог долго усидеть на одном месте, ездил по стране из конца в конец, не нажил себе ни дома, ни положения, ни достатка, размотав и то, что выделил ему отец. Показательно, что все семеро детей его родились в разных краях, от Петербурга до Дальнего Востока.

Впечатляющую характеристику дала ему дочь в своей «Автобиографии»:

«Он вечно искал чего-то, куда-то стремился, рвался неудержимо и не мог найти себе точки опоры. Он никогда не мог быть спокойным. Работал ли, шел ли куда, разговаривал ли с кем — он словно спешил куда-то, боясь опоздать, так были порывисты и стремительны все его движения. Быстрый и беспокойный взгляд его всегда горел лихорадочным огнем.

Не получив никакого образования, он сам старался развить свой пытливый ум, страстно жаждавший знаний. Все науки интересовали его, с каждой хотелось ему познакомиться, хоть отчасти, по тем книгам, которые он приобретал себе, не соображаясь со своими средствами. Но больше всего он увлекался химией и механикой. Голова его вечно была занята планами и проектами каких-то усовершенствований и изобретений, долженствующих осчастливить человечество, а попутно изобретались мелочи для домашнего обихода. Если бы он родился позднее, то, как страстный любитель и знаток азиатской природы, нашел бы свое место в экспедиции Пржевальского, а как неутомимый искатель новых изобретений, был бы хорошим сотрудником в мастерских Эдисона. Но он был один и не умел подбирать себе подходящих товарищей. В этом и заключалась главная причина его неудач.

Он совершенно не умел распознавать людей и ошибался в них на каждом шагу. Нередко сближался

с негодьями, казавшимися ему честными и благородными людьми, и сторонился хороших людей, принимая их за негодяев.

Бесконечные неудачи в предприятиях и бесконечные разочарования в людях не убивали его энергии и уверенности, что когда-нибудь и он добьется успеха и найдет себе настоящих друзей.

Но этого не случилось. Он умер в нищете, в одиночестве, вдали от семьи... Обидно, что такой неистощимый запас энергии, духовной и физической силы погиб напрасно, бесплодно, как бесследно разносится ветром пепел исполинского сгоревшего дерева».

Остается только назвать его имя, чтобы знать, как же величать его дочь. Но это оказалось не так легко и просто. Сама писательница в одном из писем призналась: «При выдаче бессрочной паспортной книжки в 1908 году неразборчиво написанное отчество Савиновна мне заменили словом Савельевна. Так как мой отец не протестовал, когда его называли Савелием, то и я не стала протестовать. Теперь все зовут так, привыкла».

И все-таки, по-видимому, ее следует величать Саввишной. Дело в том, что у Клементия Константиновича было два сына, о которых он писал в прошении о вольной от 12 ноября 1841 года: «За какие (заслуги.— Ю. К.)... не говоря о себе, но только детям моим, двум сыновьям, Михаилу с женой и детьми его и холостому Савве прошу от заводов дать свободу».

То же самое имя проходит по документам, выявленным тагильским краеведом С. Панкратовым, который, кстати, установил, что Савва Клементьевич был автором проектов разных теплотехнических устройств и установок — паровой машины для шахтного водоотлива, береговой паровой машины для пере-

мещения речных грузов, машины для обработки дерева водяным паром и других.

Исследователи творчества Д. Н. Мамина-Сибиряка единодушно признают, что прототипом Михея Колобова и его сына Симона в романе «Хлеб» следует считать Клементия и Савву Ушковых. Что Мамин был знаком с дочерью Саввы — Надеждой (которая, кстати, всегда писалась Саввишной), доказывают его письма к матери. Но, как ни странно, о знакомстве с Елизаветой Саввишной, так сказать, собратом по перу, свидетельств пока не найдено.

Не рядовой оказалась и история матери. Ее прадед Петер Шротер прибыл в Златоуст из Золингена, как специалист по выделке стали. А его дочь Генриетта вышла замуж уже за швейцарца Генриха Гадмера, служившего там же домашним учителем. Из-за ранней его смерти семья осталась без средств к существованию, и Генриетта, бабушка Елизаветы Саввишны, вынуждена была служить в людях то бонной, то экономкой, а дочерей постаралась поскорее выдать замуж. Одна из них, Элиза, приглянулась заехавшему в Златоуст тагильскому кержаку Савве Ушкову и в 17 лет, не чувствуя к нему никакой привязанности, стала его женой. И начались... скитания, которые были совсем не по душе мечтательной и домовитой молодой женщине, едва вышедшей из девического возраста. «Вечные переезды, вечные лишения, болезни и смерти детей — все это было ее уделом с первых же лет ее раннего замужества», — писала о ней потом Елизавета Саввишна.

В конце концов матери надоела эта неустроенная кочевая жизнь, и она, забрав оставшихся в живых детей, отправилась на Урал, к родственникам.

Переезд прошел тоже своеобразно, по-ушковски. Отец сконструировал и построил походный домик-возок, который можно было ставить и на телегу,

и на сани, так что он служил жильем при ночлегах и длительных остановках. А их предстояло немало на пути в несколько тысяч верст.

Отправив семью, отец двинулся искать счастья в других местах.

Полгода возок Ушковых добирался до Верхнеуральска, где жил брат матери Елизаветы Саввишны. В этой семье, как бы приходя в себя после длинной дороги и еще более длинного периода скитаний с отцом, Ушковы прожили полтора года. И уж только тогда двинулись в Екатеринбург, где предстояло учиться старшим детям. Лизе в то время еще только шел четвертый годок.

В Екатеринбурге их приютили родственники мужа, помогли устроиться с жильем и с хозяйством. И началась новая, не очень обеспеченная, но спокойная жизнь, по которой все они так наскучались. Этот город и стал для будущей писательницы второй, но настоящей, как она считала, родиной. Здесь она прожила почти полвека.

А скитания отца продолжались: «С переездом в Екатеринбург мы как бы потеряли отца еще при его жизни. Материальной помощью от него не пользовались, видели его мало. Хотя любовь его к нам и чувствовалась, согревала наши сердца, но воспитание мы получили всецело от матери», — вспоминала Елизавета Саввишна.

Мечтательная настроенность матери передалась Лизе больше, чем ее сестрам. Еще до того, как стать гимназисткой, она начала писать стихи. К окончанию гимназии их накопилось много — пухлая тетрадь. И когда в 1879 году стала выходить первая в городе «политическая и литературная» газета «Екатеринбургская неделя», то в лице недавней гимназистки она нашла своего автора, одного из немногих местных

поэтов. Так начался ее путь в литературе, длившийся более шестидесяти лет.

В 1884 году «Екатеринбургская неделя» задумала издать серию сборников стихотворений уральских поэтов и в качестве выпуска первого (впрочем, других не последовало) выдала «Стихотворения Елизаветы Ушковой» объемом 109 страниц. Стихи, во многом еще подражательные, скромные по литературным достоинствам, отмеченные печатью сентиментальности и созерцательности, иногда нотами уныния (молодая поэтесса болела в то время туберкулезом), все же привлекали к себе задушевной искренностью, сердечной теплотой, болью за окружающую несправедливость, желанием видеть мир светлым и радостным для всех людей.

В том же году Елизавета Саввишна вышла замуж и стала писаться Головой. Под этой фамилией вышел и второй сборник стихов, изданный в 1887 году к открытию Сибирско-Уральской научно-промышленной выставки в Екатеринбурге (и, кстати, удостоенный на ней похвального отзыва).

Зато почти все последующие свои сборники и отдельные публикации она подписывала уже псевдонимом Гадмер (от девичьей фамилии матери), он стал постоянным, под этим именем ее и знали читатели, как современные ей, так и последующие.

А круг читателей ширился — кроме уральских изданий Гадмер печаталась в приволжских и сибирских газетах и журналах, завязала связи со столичными издательствами. Литература стала ее профессией, ее жизнью.

Литературный труд, однако, кормил плохо, приходилось давать уроки, чтобы добавить что-то к скудному жалованью мужа. Да и не все публикации оплачивались — издатели считали, что молодой автор должен считать за честь, что его напечатали

и бесплатно. Уже на склоне лет писательница с горечью вспоминала, что ей редко когда удавалось в то время получать гонорар. Даже такой солидный журнал, как «Русское богатство», ничего не заплатил ей за опубликованный стих «Бывают чудные мгновенья».

Болезненность и застенчивость не помешали молодой писательнице включиться и в общественную жизнь — не одна литература заполняла ее время и мысли. В 1891-м, катастрофически неурожайном году, когда толпы голодных из деревень наводнили город в надежде прокормиться хотя бы нищенством и, не имея жилья, ютились в ужасных условиях в заброшенных сараях, а то и просто под открытым небом, Гадмер выступила в местной газете с взволнованным призывом облегчить положение несчастных — хотя бы открыть временное убежище для бедствующих женщин с детьми. И добилась открытия такого приюта, став его учредительницей и руководительницей. На это ушло много сил, газеты и общественность благодарно отмечали ее деятельность, столь непохожую на филантропические жесты богатых барынь.

Еще одним полезным общественным делом стало открытие Елизаветой Саввишной в декабре 1893 года общедоступной библиотеки-читальни. Единственная имевшаяся в городе частная библиотека Остроумова влачила жалкое существование и совершенно не отвечала просветительским задачам. Гадмер вложила в это дело все свои скудные средства, залезла в долги, но открыла-таки библиотеку, что явилось значительным культурным событием в жизни города. В 1895 году вышел печатный каталог «Библиотеки Е. С. Головой», свидетельствующий о серьезно продуманном подборе литературы для самообразования и для ознакомления с волнующими общество вопросами. Позднее она приняла горячее участие в орга-

низации первой в городе общественной Публичной библиотеки имени В. Г. Белинского. Судя по позднейшим каталогам Белинки, Гадмер пожертвовала в ее фонды много книг из своей библиотеки.

Примечательно, что в эти годы наиболее близкими знакомыми Елизаветы Саввишны, ее друзьями стали политические ссыльные — М. А. Колосов, А. Н. Батманов, А. В. Комаров, И. И. Годлевский (один из организаторов Уральского рабочего союза) и другие.

И не случайно, пожалуй, созерцательность, сентиментальность и унылость ее ранних стихов уступает место мотивам протеста против социальной несправедливости, гражданственному настрою тематики. Не случайными оказались и завязавшиеся тогда связи писательницы с демократическими издательствами. Если первая ее «столичная» книга («В светлую ночь») вышла в 1899 году в довольно-таки всеядном издательстве И. Д. Сытина, а вторая («Подруги. Рассказы для детей») годом позже — в издательстве М. В. Ключкина, то примерно с 1902 года ее основными издателями становятся известные своей прогрессивностью (и даже «неблагонадежностью») «Вятское товарищество» с его «Народной библиотекой» и издательство О. Н. Поповой, в котором печатались многие видные социал-демократы, большевики.

К революционной ситуации 1905—1907 гг. Елизавета Гадмер подошла уже с репутацией писательницы демократического направления, сочувствующей революционному движению. Не все стихотворения той поры поэтому ей удалось опубликовать, но они были известны, особенно среди учащейся молодежи, знали их и в рабочих кружках, например, на Монетке и на заводе Ятеса.

Среди опубликованных ею в 1905 году стихотво-

рений показательна «Песня кузнеца» (газета «Уральская жизнь», 27 ноября 1905 г.). Сама Гадмер так рассказывала потом его историю в письме к А. А. Черданцеву: «Это стихотворение было написано под впечатлением первого митинга (в городском театре), на котором выступал оратором тов. Андрей. В этот вечер я составляла частицу публики, а мой сын — частицу боевой дружины, охранявшей ораторов». (Тогда она еще не знала, что под именем товарища Андрея выступал Я. М. Свердлов.)

Это произведение, пожалуй, лучшее из того, что появилось в уральской печати в тот год:

Стучи, мой молот, да сильней!
Не время уставать:
Железо пламени красней —
Пора его ковать!
Когда для жатвы хлеб готов,
Нельзя дремать жнецам!
Нельзя у пышущих горнов
Дремать и кузнецам!
И дружно, с песней боевой,
Мы молотами бьем:
Своей отчизне дорогой
Мы счастье все куем!
Нельзя ведь счастье нам найти,
А можно лишь сковать!
К нему заветные пути
Должны завоевать!
Ведь это сказка говорит,
Что счастье в сундуке,
В цепях закованном, лежит
На дне морском, в песке...
Пусть будет так!.. Сундук найдем!
Разроем все пески!
И цепи ржавые на нем
Собьем, и все замки!..
Рабы! Скорей идите к нам!
Мы цепи вам собьем!
И цепи рабские мы вам
В мечи перекуем!..
Стучи же, молот мой, сильней

И спящих всех буди!..
Не спи, народ!
Проснись скорей!
На помощь к нам иди!

Всем нам более знакомо другое, ставшее хрестоматийным стихотворение Ф. Шкулева «Песня кузнеца», опубликованное позднее (в 1906 году) в центральной печати, а потому и получившее бóльшую популярность. Не умаляя значения сходного по мотивам и по идейной направленности произведения Ф. Шкулева, следует все же отметить, что стих Гадмер появился в печати на самом гребне общего революционного подъема на Урале и, несомненно, сыграл выдающуюся агитационную роль, оставшись для нас ярким памятником эпохи.

Примечательным было и обращение Гадмер в эти годы к тираноборческой теме. Еще в 1900 году она перевела роман Джованьоли «Спартак», бывший наряду с «Оводом» Войнич, как известно, неизменным спутником жизни и начальной ступенью политического самообразования не одного поколения русских революционеров. В 1901 году она переделала роман в драму (в 5 действиях и 14 картинах) и представила ее в драматическую цензуру (экземпляр этот сохранился в Ленинградской театральной библиотеке с разрешительной визой от 17 марта 1901 г.). Год спустя Московский театрально-литературный комитет Дирекции императорских театров на основании отзывов известных артистов В. П. Далматова и М. В. Дальского дал рекомендацию к ее постановке на сцене. Но императорским театрам она оказалась не по вкусу, а для провинциальной сцены — слишком сложной в постановочном отношении.

В 1903 году Гадмер удалось с помощью все того же «Вятского товарищества» издать пьесу отдельной книгой, и драма начала свою вторую жизнь — чита-

тельскую. А о том, что спрос на нее был, и немалый, свидетельствуют три ее издания (последнее в 1910 году). Между прочим, одно из изданий имелось в яснополянской библиотеке Л. Н. Толстого и, как можно узнать из описания библиотеки, сохранилось в весьма подержанном виде — значит, и там читали ее.

Естественно, захотелось узнать, не писала ли Гадмер Толстому. Оказалось — писала. В Государственном музее Л. Н. Толстого хранится ее письмо от 6 октября 1905 года. Оно довольно большое, но смысл его сводится к главному — стоит ли ей писать. И это спрашивает человек, печатающийся уже более двадцати лет!..

Очевидно (хотя это и не выражено напрямик в письме), вопрос вызван сложной атмосферой общественно-политической обстановки в стране, приведшей две недели спустя к пресловутому «манифесту о свободах».

«Я не знаю, есть ли у меня творческий талант, но я знаю, что не писать — это для меня значит: не жить... Моя горячая любовь к человеку и ко всему живущему неудержимо влечет меня к перу... Не откажите прочесть прилагаемые книжки... есть ли у меня что-нибудь за душой, стою ли я того, чтобы люди читали написанное мной».

Больше всего ее волнует судьба любимого детища — пьесы «Спартак». Она хотя и была издана еще в 1903 году, но так и не увидела свет ramпы. А как ей хотелось довести до сцены эту свободолюбивую пьесу о народном восстании в дни, когда и в ее родной стране назревала революционная ситуация!

«Если мой «Спартак» понравится Вам, то Вашего одобряющего слова, громко сказанного о нем, вполне достаточно, чтобы он увидел свет».

Однако ответа не последовало. События бурного октября 1905 года коснулись и Ясной Поляны —

почта не доставлялась более двух недель. Да и что мог сказать автор учения о непротивлении злу насилем автору пьесы, зовущей к борьбе?!

Продолжая тираноборческую тему, Гадмер по заданию Вятского книгоиздательского товарищества с 1904 по 1910 год перевела и обработала для «Народной библиотеки» «Дона Карлоса» и «Вильгельма Телля» Шиллера, переработала для юношества роман Н. Костомарова «Кудеяр» и «Князя Серебряного» А. Толстого. Перечень говорит сам за себя.

Драматургия вообще привлекала Гадмер. Пьесы она начала писать еще на школьной скамье. Драму «Птагмай» из жизни Древнего Египта, написанную тогда, позднее похвалил известный публицист, последователь Чернышевского, Н. В. Шелгунов («Умирающий писатель имел терпение прочесть все 5 действий пьесы и дать мне отзыв... Это письмо, ободрившее и окрылившее мою робкую непризнанную музу... совет не покидать пера стали для меня дорогим заветом, утешением в горькие минуты неудач», — писала Гадмер).

Следуя совету Шелгунова, она продолжала писать пьесы. В 1893 году труппа С. Г. Бабош-Королева ставила в Екатеринбурге ее драму «Сусанна». Отзывы критики на спектакль были сдержанными, и Гадмер переделала пьесу, дав ей и новое название — «Искушение». Под этим названием она неоднократно потом ставилась в екатеринбургском театре (а может, и в других?), а в 1896 году вышла в Екатеринбурге отдельным изданием.

В цензорском фонде Ленинградской театральной библиотеки удалось найти рукописи ее драм «Былинка» (1904), «Начинающая» (1910) и «Ундина» (1909).

Кстати, «Ундина» была задумана под впечатлением символистской пьесы Леонида Андреева «Жизнь человека», ущербной и пессимистической,

но пользовавшейся в те годы известностью. Сама Гадмер так вспоминала об этом: «Эта пьеса произвела на меня такое угнетающее впечатление, что я почувствовала себя после нее совершенно разбитой и больной. И мне захотелось написать пьесу противоположного характера — которая поднимала бы дух, вливала бы в него силу». Увы, в годы реакции после революции 1905—1907 гг. это было «немодным», и пьеса не дошла до сцены.

По словам Елизаветы Саввишны, она написала также пьесы «Три тысячи» и «Слепой сын», но судьба их остается неизвестной.

Несложившаяся личная жизнь, разрыв с мужем, разлука с сыном, наконец, обострившаяся давняя болезнь вынудили Гадмер в 1908 году покинуть Урал. Тяжело было покидать край, по-настоящему родной ей, но уж так сложились обстоятельства.

Своеобразным прощанием с Уралом, с местной газетой, в которой она много лет сотрудничала, с дорогими для нее воспоминаниями о пережитом, передуманном и пережитом в годы первой русской революции явилось напечатанное в январе 1908 года в «Уральской жизни» стихотворение «Труп» с отзвуками мотивов 1905 года. И это в период, когда подобная тематика, казалось, уже напрочь исчезла со страниц легальных газет!

Елизавета Саввишна переехала в Липецк, куда вскоре, к ее радости, прибыл и сын. Все вроде бы устроилось так, как она хотела. Однако отрыв от родной почвы лишь усилил душевное смятение. Падение общественной активности и упадок духа в среде интеллигенции в пору столыпинской реакции после поражения революции привели к наплыву в литературу мистики, декаданса, порнографии. Это было чуждо натуре Гадмер. Но мутная волна так

называемых религиозно-философских исканий, которая не миновала и больших русских писателей, коснулась и ее. Она сама признавалась потом: «Там ожидали меня еще не изведенные ранее переживания мистического характера».

Этими мотивами проникнут и первый после отъезда с Урала стихотворный сборник ее «Вечерний звон», вышедший в Липецке в 1911 году. Она продолжала еще сотрудничать с Вятским книгоиздательским товариществом, но тематика ее переводов и обработок для «Народной библиотеки» уже иная — перевод романа Уарда «Дочь египетского царя» и даже книги «Иисус Навин». Впрочем, и само издательство к тому времени заметно изменило свой профиль.

И все же уральская закваска взяла свое — Гадмер постепенно возвращается в своих произведениях к близкой ей тематике, включается и в общественную деятельность. Еще в 1909 году она приняла участие в «Уральском сборнике», составленном при содействии Д. Н. Мамина-Сибиряка писателями-уральцами. Пробует организовать в Липецке книжную торговлю просветительского профиля, ради чего завязала отношения с книгоиздательствами демократического направления, в том числе с руководимым М. Горьким «Знанием» и с большевистским издательством «Жизнь и знание» В. Д. Бонч-Бруевича. А издательства в свою очередь привлекли ее к участию в своих изданиях. Так удалось установить, что Бонч-Бруевич включил ее стихотворение в составленный им сборник для издательства «Знание» — «Избранные произведения русской поэзии» (1909). Тогда же состоялось их заочное знакомство, которое продолжилось перепиской и в советское время.

Часть писем сохранилась в бумагах В. Д. Бонч-Бруевича. В одном из них, судя по содержанию, не первом, отправленном из Липецка 24 мая 1915 года,

продолжаются переговоры о распространении книг издательства, руководимого Бонч-Бруевичем, через книжную торговлю, начатую Гадмер, об издании ее собственных произведений в том же издательстве. Она сообщает, что высылает «весь литературный материал, который хотела бы предложить», и перечисляет ранее вышедшие книги.

В письме этом между прочим интересна в ее передаче история одного стихотворения: «Теперь расскажу Вам историю стихотворения, которое Вы поместили в своем сборнике*. Это было в 1905 году... Я жила тогда в Екатеринбурге. Однажды дочь моей квартирной хозяйки пришла из гимназии с таким плачем, что я поспешила узнать, в чем дело. Ее подругу, посаженную в тюрьму после 19 октября, на следующую ночь должны были отправить в острог, находящийся в Верхотурском уезде и пользовавшийся недоброй славой застенка. Если плакала так подруга, то можно было представить себе отчаяние матери отправляемой девушки. Я сама была страшно потрясена и решила испытать единственное имевшееся в моих руках средство, не поможет ли оно предотвратить беду. Тотчас же взялась за перо и через несколько времени уже мчалась в редакцию газеты, где я сотрудничала. Наутро стихотворение появилось в печати. Сыграло ли оно ту роль, которой я ждала от него, не знаю, но только злополучную гимназистку никуда не отправили». (Предположение не такое уж наивное, как кажется сегодня,— в те месяцы первой русской революции растерявшиеся местные власти нередко не решались «обострять положение» и шли на некоторые уступки общественному мнению.)

После некоторого перерыва, в Липецке, восстановились ее связи и с другими столичными издатель-

* Второй выпуск сборника «В борьбе» (1906).

ствами — Семенова, Клюкина, Сытина, где выходят новые ее книги и переиздаются старые. Казалось бы, жизнь вошла в нормальную колею... Но начавшаяся война нарушила и эту жизнь и планы на будущее. К тому же болезнь сына вынудила переселиться на юг, где сестра дала им временное пристанище.

И тогда начались скитания, которые продолжались уже до конца жизни. Кочевая жизнь отнюдь не способствовала творчеству. В 1915 году вышла последняя книга Елизаветы Гадмер — «Уральские легенды». Они пользовались успехом у читающей публики, особенно на Урале, перепечатывались в хрестоматиях и сборниках, но, надо честно сказать, несли в себе элементы «мистической романтики» и потому не могут быть отнесены к лучшим ее произведениям.

Жизнь между тем становилась все беднее, все неустроеннее. Не случайно, пожалуй, этот период в воспоминаниях Гадмер как бы обойден. И мы ничего больше не знаем о нем.

Лишь в 1927 году Елизавета Саввишна «нашлась» — она напомнила о себе В. Д. Бонч-Бруевичу, который в то время возглавлял издательство «Жизнь и знание». Письмо от 28 октября 1927 года говорит о том, что и в эти, далеко уже не молодые годы Гадмер не оставляла литературной работы — перечисляет написанные ею стихи, темы которых показывают новый поворот в ее творчестве, намеченный политическими стихами 1905—1907 гг.

Но опубликовала ли она эти стихи, мы не знаем. «Спешу ответить на Ваш вопрос, есть ли у меня стихи на гражданскую тему. Есть. Вот их названия: «Война и мир (поэма), Воздушный корабль (памяти лейтенанта Шмидта), Спартак (большое стихотворение). Песня кузнеца, Песня пролетария, Гимн Компартии, Интернационал, Памяти народных вождей,

Первое Мая, Гимн Комсомольцев, Пионерский марш, 19 октября 1905 года, Ожидание мира, Мир, Комсомольский похоронный марш (посвященный памяти Л. А. Волькенштейн, Баумана и учащихся, погибших во время уличных манифестаций 19 октября 1905 г., жертвам 9 января и всех погибших за дело народной свободы), Похоронный марш вождям борцов за свободу, Марш Красной Армии».

Это — весточка из 1927 года. А затем снова пробыл в биографической канве до ранней весны 1931 года, когда отдохавший на юге уральский краевед и библиограф А. А. Черданцев встретил в Пятигорске Елизавету Саввишну и завязал с ней переписку.

Александр Александрович Черданцев был примечательным человеком — из тех, кто скромно и незаметно, но преданно и самоотверженно служат Истории, собирая по крохам то, что может безвозвратно утратиться, но без чего история никогда не будет полной. В течение многих лет он настойчиво и неустанно собирал материалы о всех чем-нибудь и сколько-нибудь примечательных людях Урала. Тех, кто еще жив, — разыщет, попросит написать автобиографию, дать снимок и что-нибудь из личного архива (а то и весь архив), а о тех, кого уже нет, раздобывал воспоминания, остатки архива, сохранившегося у наследников, и т. п. И собрал он так за несколько десятилетий материалы о чуть ли не двух тысячах уральцев, память о которых следовало бы сохранить для потомства.

О Гадмер Черданцев знал давно, с детства, по Екатеринбургу, где учился в те годы, когда Елизавета Саввишна еще жила там. Но сведения, собранные о ней, были скудны. И поэтому едва ли не специально устроил он себе эту южную поездку, чтобы разыскать забытую писательницу.

И нашел. Благодаря этой встрече мы и получили

возможность узнать об Елизавете Гадмер то, что позднее узнать уже не смогли бы — по просьбе Черданцева Елизавета Саввишна написала воспоминания («Автобиографию»), а в ее письмах, в ответ на удачно поставленные вопросы, прояснилось многое из того, что не нашло места в воспоминаниях. Присылала она Черданцеву и много своих стихов, новых и старых, опубликованных и оставшихся в рукописях.

Как видно из писем, жизнь Елизаветы Саввишны в эти годы была нелегкой — необеспеченной, бесприютной, скитальческой. Сын тяжело и безнадежно болел, в поисках подходящих по здоровью условий работы и жизни приходилось часто переезжать с места на место. Однако никогда не придававшая быту большого значения Елизавета Саввишна описывала свое положение даже с юмором. Так в письме от 14 мая 1931 года из Ольгино она сообщала о «благоустройстве» рабочего места: «...Письменный «стол» у меня очень неудобный, как и мой единственный «стул». Стулом мне служит маленький ящик с книгами, а письменным столом — два ящика небольшие, из которых один поставлен на другой... При переписке рукописей приходится черновик держать уже на коленях и нагибаться больше, чем следует. Неустойчивость всех ящиков тоже мало способствует разборчивости и красоте написанного. Но это уже вина неровного земляного пола, состоящего из повышений и понижений, напоминающих собой плоскогорья и низменности на поверхности земли. Два других «стола» и вовсе не могли бы служить мне письменным столом: один, в углу, сложенный весь из кирпичей и до полу задрапированный скатертью, слишком мал и далеко от окна, другой тоже слабо освещен и состоит из ящика и дорожной корзинки. Как видите, мебель у меня оригинальная и состоит из одних «заместителей» — ничего постоянного! Пол-

ками служат доски, положенные на кирпичи, а кроватью — дверь, покоящаяся тоже на кирпичах... Да и сама комната, где я живу, не настоящая комната, а бывшая баня. Из-за порчи котла и печи ее обратили в кладовую. Благодаря любезности пользовавшихся этой кладовой она предоставлена в мое распоряжение. И я каждый день радуюсь, что имею бесплатно такое уединенное жилье, где можно так спокойно работать... Радуюсь и тому, что прозимовала благополучно в этом холодном помещении, ни разу не болев... Но и в «худе есть добро»: непрерывная естественная вентиляция (со всех сторон) временами доводила воздух жилища до идеальной чистоты, почти не уступавшей наружному воздуху, и несла с собой экономию времени: выходя на улицу, не нужно было надевать на себя еще что-нибудь, а ложась спать — снимать».

Но где-то весной 1933 года переписка обрывается — умер горячо любимый сын, горе увело ее с печально памятного места еще куда-то, и... следы Елизаветы Саввишны затерялись. Затерялось и все то, что осталось от ее литературного архива. До сих пор неизвестно даже время и место ее кончины...

Пробелов в судьбе Елизаветы Гадмер, как видим, еще немало. Будем надеяться, что наши литературоведы заполнят их.



ДЕЛО ЛИПРАНДИ

ОН БЫЛ ЗНАКОМ С ПУШКИНЫМ

Иван Петрович Липранди был знаком с Пушкиным в дни его южной ссылки...

Были времена, когда многие, прочитав эту фразу, вероятно, на ней и оборвали бы чтение: «Что мне за дело до каждого знакомого Пушкина?! Это утеха пушкинистов, дотошно выясняющих цвет туфелек дамы, с которой поэт танцевал на балу, и биографию сапожника, который шил их...»

Да, когда-то было даже модным проезжаться насчет пушкинистов, посмеиваться над их скрупулезным и не многим тогда понятным трудом по собиранию рукописного наследия великого русского писателя и по воссозданию — до мелочей — его биографии, его окружения, обстановки, в которой он жил и творил. Популярный в 1930-е годы сатирик Арго так изложил в стихах распространенное тогда отношение к пушкинистам:

...Профессора, усевшись в ряд,
Свои брады уперли в землю
И говорят... и говорят...
Тоскливо, скучно, бесконечно...
О ком? О Пушкине, конечно,
О том, кого поэт любил,
Какие брюки он носил.
Подробные наводят справки
Насчет разбитых им сердец,
Выпытывают, наконец,
Имел ли Пушкин бородавки,
А если нет — то почему
Судьба их не дала ему...

Возможно, что это и остроумно. Но вот что примечательно: теперь такое едва ли кто напишет. Уже давненько над пушкинистами никто не издевается. Как-то незаметно даже добродушные шутки над ними сошли на нет. Ныне их труд окружен уважением и всеобщим интересом к нему. Это свидетельство роста нашей культуры, это стало потребностью. Нам стали важны и интересны и неосуществленный замысел Пушкина, и его забытое письмо, и судьба близкого ему человека, и... гм... может быть, даже и то, какие брюки он носил.

Кстати о брюках. Вспомним, как Чехов, по свидетельству Бунина, собираясь к Толстому, чуть не час решал, в каких брюках ехать («эти неприлично узки, подумает — щелкопер... а эти шириной с Черное море, подумает — нахал»). Для кого-то и это серьезный, хотя и решаемый в шутливой форме, вопрос, характеризующий человека.

А если отставить в сторону брюки и бородавки, то как не почтить низким благодарным поклоном наших пушкинистов за один лишь такой факт: читатели 1980-х годов могут прочесть втрое большее число пушкинских произведений, чем могли читать современники поэта в 1837 году. И это — не считая почти 800 писем и около 1900 случаев неполно или неисправно напечатанных произведений*.

Втрое больше! Надо ли говорить, какой это подвиг, какой вклад в сокровищницу мировой культуры!..

И — уместно добавить — многие произведения, письма, реликвии добыты (разысканы!) в архивах знакомых Пушкина, в результате дотошного изучения биографии и судеб лиц из его далекого и близкого окружения. Вот вам и «кого поэт любил...»

* Подсчеты литературоведа К. П. Богаевской, приведенные Н. Эйдельманом в «Неделе» (№ 7, 1967 г.).

А впереди возможности еще многих волнующе интересных открытий. Ибо установлено, что еще могут быть найдены десятки неизвестных нам сочинений и писем Пушкина.

Десятки! Вот вам и «бородавки»!

Пушкин — это такое огромное явление в истории русской и мировой культуры и вместе с тем такой живой и деятельный наш современник, что важно решительно все, без оговорок, связанное с его именем.

Так вот — Липранди...

МЕТАМОРФОЗЫ «СИЛЬВИО». AVERS *

«...Личность его представляла несомненный интерес по своим дарованиям, судьбе и оригинальному образу жизни. Он был мрачен и угрюм, но любил собирать у себя офицеров и широко угощать их. Источники его доходов были покрыты для всех тайной. Начетчик и книголюб, он славился бреттерством, и редкая дуэль проходила без его участия».

«...Всех привлекала многообразная и вместе загадочная личность нового знакомца, ведшего свой род от знатных испанских рыцарей. Постоянное мрачное настроение не мешало ему принимать участие в лихой товарищеской пирушке гусарских офицеров. Известного рода гордость своей бедной обстановкой и потертым сюртуком как-то сочеталась в нем с готовностью и умением угостить друзей роскошным ужином. Молчаливая сдержанность человека, умудренного житейским опытом, много видавшего в скитаниях по свету, совмещалась у него с пылкой страстностью свобододолюбивой речи... Скрамность вынужденно вышедшего в отставку военного, участника знаменитых

* Нумизматический термин. А в е р с — лицевая сторона монеты, медали, р е в е р с — обратная.

походов, доставивших ему боевые награды, и познавшего тленность шумливой суеты, не исключала в характере его бурной вспыльчивости дуэлянта и бреттера. Отечественная снисходительность к незрелой молодежи не смягчала в романтическом чиновнике... жестокой мстительности бездушного авантюриста, ежедневным упражнением поддерживавшего меткость своего выстрела, попадавшего в муху на расстоянии тридцати шагов. У него была слава удивительного стрелка и участника многих дуэлей».

Вы роетесь в памяти?.. Что-то знакомое?.. Ах, да, это же Сильвио из «Выстрела» — одной из «повестей покойного Ивана Петровича Белкина»!

Но вы лишь почти правы — речь идет о почти-Сильвио, вернее — о его прототипе, Иване Петровиче Липранди. В этих характеристиках, данных литературоведами Л. Гроссманом* и С. Штрайхом**, я только позволил себе заменить местоимениями некоторые прямые упоминания его имени.

...Да, была среди знакомых Пушкина такая весьма любопытная фигура — Иван Петрович Липранди, тогда армейский подполковник, позднее генерал-майор, а под конец жизни действительный статский советник. Обычно в справках и сносках его именуют военным историком. Это правда, но далеко не полная — познакомившись ближе с его биографией, как-то даже забываешь о том, что он был еще и военный историк.

Сын обрусевшего испанского гранда. Отмеченный многими наградами участник наполеоновских войн с 1807 года (то есть с 17 лет). Сослуживец и приятель «первого декабриста» В. Ф. Раевского

* В статье «Исторический фон «Выстрела» (Новый мир, 1929, кн. 5, с. 208—223).

** В статье «Знакомец Пушкина — И. П. Липранди» (Красная новь, 1935, кн. 2, с. 212—218).

и многих других деятелей Южного тайного общества. сам член Союза Благоденствия (его ячейки «Зеленая книга»). Арестованный по делу декабристов в январе 1826 года, сидел в камере вместе с Грибоедовым.

Имя Липранди запечатлено в воспоминаниях многих мемуаристов той поры. Перечислить статьи, где упоминается его имя, невозможно — их сотни, а полной библиографии Липранди никто не составлял.

Особо следует сказать о его взаимоотношениях с Пушкиным. Он не просто знакомец. По собственным признаниям поэта:

«...Он мне добрый приятель и (верная порука за честь и ум) не любим нашим правительством и в свою очередь не любит его...» (в письме П. А. Вяземскому, январь 1822 года);

«...Где и что Липранди? Мне брюхом хочется видеть его...» (в письме Ф. Ф. Вигелю из Одессы, ноябрь 1823 года);

«...Липранди обнимаю дружески, жалею, что в разные времена съездили мы на казенный счет* и не столкнулись где-нибудь...» (Н. С. Алексееву в декабре 1826 года);

«...Пиши мне... о Липранди, словом, обо всех близких моему воспоминанию...» (Н. С. Алексееву в декабре 1830 года).

Познакомились они на юге, где Пушкин отбывал свою первую ссылку, вскоре (через день!) по прибытии поэта в Кишинев — 23 сентября 1820 года. Быстро и близко сошлись. Молодому, романтически настроенному поэту импонировала в Липранди слава бывалого воина, отчаянного дуэлянта, человека, ведущего несколько таинственный образ жизни. Пуш-

* Один — под арест, другой — в новую ссылку, в Михайловское.

кин стал частым посетителем холостяцкой квартиры Липранди, с жадностью набросился на его действительно богатейшую библиотеку, часами слушал его рассказы, требуя все новых и новых. В декабре 1821 года, узнав о предстоящей Липранди продолжительной служебной поездке по Бессарабии, Пушкин напросился в спутники и 11 дней путешествовал с ним. Поездка эта много дала молодому поэту — ведь она проходила по местам ссылки любимого им поэта Овидия, по местам боев русско-шведской войны, о которой военный историк Липранди мог рассказать немало. Другую — трехдневную — поездку они совершили вместе в январе 1824 года в Тирасполь и Бендеры. По дороге, в Варнице, искали могилу Мазепы, а в Бендерах встречались с 135-летним казаком Искрой, выдавшим сто с чем-то лет назад Карла XII в шведском лагере под Бендерами.

Иван Петрович Липранди — утверждают некоторые литературоведы — не только был прототипом Сильвио в «Выстреле», он же дал Пушкину и сам сюжет этой повести. Вспомним, кстати, что и весь цикл этих маленьких повестей дается от имени Ивана Петровича (пусть и Белкина). Он же доставил поэту перевод двух песен греческих революционеров-повстанцев, свел его с знатоками молдавского фольклора, пересказавшими ему две старинные легенды — «Дафна и Дабижа» и «Дука», — обработка которых, как утверждают специалисты, стала первым опытом Пушкина в прозе.

Добавим ко всему этому, что Липранди оставил пространные и обстоятельные воспоминания о жизни Пушкина на юге, которые до сих пор считаются «мемуарами № 1» — весьма ценными и, как всегда считали, достовернейшими.

Остается заключить это все выводом, к которому склоняются некоторые исследователи: что Липранди

«...искренне любил Пушкина... история их близости непрерываемо свидетельствует о глубоком внимании и нежной опеке старшего друга над его юным сотоварищем, которого он приобщает к своему житейскому опыту и научной культуре, не переставая оберегать повышенное самолюбие, обостренное чувство чести, духовные интересы и даже нередко жизнь Пушкина» *.

МЕТАМОРФОЗЫ «СИЛЬВИО». REVERS

Но это, так сказать, одна сторона медали. А вот другая.

Известно со слов самого Липранди, что еще в 1813 году он стал заведовать тайной политической полицией при армии Воронцова во Франции. По свидетельству Ф. Ф. Вигеля, близко общался с известным политическим авантюристом и провокатором Видоком. Три года спустя совместно с французскими жандармами участвовал в раскрытии тайного антиправительственного «общества Булавок». С начала 1820 года он главный военный разведчик при штабе русских войск в Бессарабии. К концу 1820-х годов он уже настолько видный теоретик и практик военного и политического шпионажа, что именно ему поручают составить записку «О средствах учреждения высшей тайной заграничной полиции», которая была представлена самому царю и получила высочайшее одобрение. В конце 1827 — начале 1828 года он же и возглавил это, созданное по его мысли и планам, учреждение.

Тут нужно сделать важную оговорку. Профессия военного разведчика имеет давние традиции, так же обычна, как и всякая другая военная специальность,

* Л. Гроссман. Исторический фон «Выстрела».

и осуждать ее, вменять человеку в вину — нелепо. Военно-разведывательные задания выполнял в те же годы и в той же Южной армии, например, будущий декабрист П. И. Пестель — человек безупречной порядочности. И к Ивану Петровичу тут претензий вроде бы и не может быть — служба есть служба.

Но вот дальше пошла служба иного рода.

Неизвестно точно — с какого времени, но уже в 1820-е годы Липранди непосредственно и тесно связан с шефом жандармов Бенкендорфом. А с 1840 года он на штатной службе в Министерстве внутренних дел по департаменту полиции. Поручения, которые пришлось там выполнять, были настолько деликатны, что начальство, очевидно, посоветовало ему расстаться с офицерским мундиром и сменить военное звание генерал-майора на штатское — действительного статского советника. Липранди стал организатором гонений на раскольников, на прогрессивную печать. На нем несмываемое пятно организатора позорной провокации — это он, пронюхав о кружке М. В. Буташевича-Петрашевского, ввел в него провокатора, своего родственника, студента Антонелли, составил печально знаменитую «записку», в которой охарактеризовал деятельность кружка как «зло великой возможности, угрожающее коренным потрясением общественному и государственному порядку». Именно эта записка и привела на эшафот — под инсценировку расстрела, а потом на каторгу и ссылку — Петрашевского, Достоевского, Плещеева и их товарищей. Имел он отношение и к аресту Огарева в 1850 году. Даже на склоне лет Липранди пишет свои теоретические труды по военному и политическому шпионажу, обобщает свой опыт разведчика и провокатора, убеждает правительство в необходимости совершенствовать систему тайной полиции. Он, как выяснил писатель и пуш-

кинист В. Вересаев, «...при Александре II подал проект об учреждении при университетах школы шпионов, чтобы употреблять их для наблюдения за товарищами, чтобы потом давать им по службе ход и пользоваться их услугами для ознакомления с настроениями общества».

И почти все это он сообщил сам! В печати!!! Правда, уже в 1870-х годах, за несколько лет до конца своей довольно продолжительной жизни. Остальное дополнили документы.

Не случайно еще в 1849 году юный Чернышевский писал в своем дневнике «...о подлецах, которые, как Липранди, губят людей». Недаром и Герцен в своих статьях и брошюрах неоднократно брезгливо упоминал его имя как синоним шпиона и провокатора («Липранди, доносящий по особым поручениям») *.

Да и Пушкин, кажется, впоследствии заподозрил что-то. Едва ли случайно он дал в руки Сильвио (повесть писалась осенью 1830 года) «память одного поединка», своеобразный символ — «красную шапку с золотой кистью, с галуном, то, что французы называют *bonnet de police*» (полицейской шапкой), хотя тут не обязательно видеть связь с полицией — так уж зовется во Франции этот головной убор, носимый многими, но намек позволяет заподозрить это.

К тому же два года спустя, в 1833 году, составляя «Программу записок» о Молдавии, Пушкин включает в конспект такие «пункты»: «Липр(анди) — 12 год — *mort de sa femme — renegat*» **.

Такова другая сторона медали.

* Намек на его должность чиновника по особым поручениям.

** Смерть его жены — ренегат (франц.).

КТО ЖЕ ОН?

Неизбежен вопрос: какая из этих сторон истинная, а какая искусственная, наигранная?

Но, может, обе истинные и тут налицо метаморфоза? Такое встречается: был хорошим, потом стал плохим. Вспомним, что и небезызвестный А. С. Суворин в молодости пописывал для «Современника» и «Отечественных записок» либеральные рассказы и статьи, что его первая книга была уничтожена цензурой, что он дружил с Чеховым, а в зрелых летах стал черносотенцем, владельцем и душой одной из самых отвратительных русских газет — «Нового времени», название которой стало брезгливо-нарицательным. Такие метаморфозы в истории известны.

Но если тут и имела место метаморфоза, то тем более забывать о ней нельзя. Все, что сказано выше, в общем-то известно, публиковалось в довольно-таки обширной, хотя в большей части и специальной, ученой литературе о Липранди, о южной ссылке Пушкина. И как же обидно читать сегодня такую ангельскую характеристику нашего знакомого:

«Липранди Иван Петрович (1790—1880). Сын обрусевшего испанца из старинного рода. Участник войны 1812 года. Служил под начальством генерала М. Ф. Орлова. Выйдя в отставку, продолжал жить в Кишиневе. Был членом общества «Зеленая лампа» *. Дружил с В. Ф. Раевским. После восстания декабристов привлекался к следствию, но был освобожден. Пушкин познакомился с Липранди у Орлова; часто бывал у него в Кишиневе и Одессе; пользовался его прекрасной библиотекой. Липранди отно-

* Здесь, конечно, досадная ошибка. «Зеленая лампа» — полуконспиративный петербургский кружок, распавшийся еще в 1820 году. Липранди мог быть (если был) членом «Зеленой книги», кишиневской ячейки Союза Благоденствия, названной так по заглавию первой части устава Общества.

сился к Пушкину с любовью и написал воспоминания о нем в форме примечаний и дополнений к работе Бартенева «Пушкин в Южной России».

И все. Дословно, до буковки. Ни слова о реверсе, о метаморфозе. Родился святым и умер святым.

И это в книге, названной «Тропа к Пушкину» (издана в 1967 году в «Школьной библиотеке»), как пишут составители, предназначенной «стать для юных пушкинистов настольной книгой, верным спутником и помощником в работе над изучением творчества поэта».

Нельзя же приучать юных пушкинистов к такой односторонности, к ложно понятой объективности. Даже допустив, что в годы знакомства с Пушкиным Липранди был ангелом, не сказать о том, кем он стал потом, о его метаморфозе, просто недопустимо.

Да и была ли еще метаморфоза-то? Может, ее и не было? Может, одна часть жизни была прожита под маской, а другая открыто?

Об этом пушкинисты спорят. Одни — их много, и среди них такие маститые исследователи, как П. Е. Щеголев, С. Я. Штрайх, Б. Л. Модзалевский — склонялись к тому, что Липранди уже в бытность Пушкина в Бессарабии был политическим осведомителем. Другие допускают это, но не утверждают и как бы уклоняются от выводов. Третьи — их мало, но они есть — пытаются доказать, что Иван Петрович тогда еще не был осведомителем.

Но и те, и другие, и третьи исследователи, расходясь в оценке Липранди 1820-х годов, сходились в одном: как бы там ни было, а воспоминания его о жизни Пушкина на юге «ценятся пушкинистами, как единственные по богатству сведений о кишиневском и одесском периодах жизни поэта» (С. Штрайх).

Правда, в последнее время стали раздаваться голоса, что это положение можно принять с большими

оговорками и, может быть, даже следует и пересмотреть его. Но об этом дальше.

А пока все — уже решительно все и без всяких оговорок — сходятся в том, что в бумагах Липранди, найдись они, может оказаться много важного и интересного для пушкиноведения и для прояснения вопроса — кто же он на самом деле: многолетний дневник Липранди, несомненно, с множеством ценнейших сведений о Пушкине и его окружении, неизвестные нам письма Александра Сергеевича, книги, которыми он пользовался и которые, безусловно, по неистребимой пушкинской привычке, должны хранить следы его чтения — пометки. И наконец, «Дука» и «Дафна и Дабижа» — первые опыты Пушкина в прозе, обработанные в повести два молдавских предания.

Ах, если б найти их!..

ТОЛЬКО ОПИСЬ

Нижний Тагил — город многих счастливых находок. В 1925 году его имя пронеслось по газетам и журналам мира в связи с находкой в какой-то кладовой «Мадонны» с подписью Рафаэля. В 1956 году все мы зачитывались рассказом Ираклия Андроникова о переписке Карамзиных, найденной тагильскими краеведами. Полная публикация этих писем Пушкинским домом Академии наук с комментариями и примечаниями заняла солидный том и стала одним из важнейших документов пушкиноведения.

О менее сенсационных, но значительных находках я не говорю, о них мы узнаем часто. И не случайно, конечно, ведь это старинный центр вотчины Демидовых, город, связанный с именами Черепановых, Худояровых, Клементия Ушкова, Фотия Швецова, Егора Кузнецова, Д. Н. Мамина-Сибиряка и многих других видных деятелей науки, техники, литературы и искусства. Отслоения дней — жемчужины культуры

прошлого нет-нет да и выглянут из забвения на белый свет. А сколько еще их, таких жемчужин, нам предстоит увидеть в будущем, далеком и близком!..

Каждый раз, когда приезжаешь в Тагил, охватывает какая-то невольная дрожь нетерпеливого ожидания встреч с заманчивым неизвестным, возможных открытий, больших или маленьких, все равно.

Вот и в этот раз, в 1968 году, я шел с вокзала с трепетом нетерпения в давно знакомое и близкое моему сердцу здание краеведческого музея. Какие встречи, с кем и с чем, ожидают меня, какие находки обрадуют?..

Ехал я, конечно, не наугад, не просто за чем-нибудь, а с определенной целью — поискать какие-то следы пребывания здесь некоей Авроры Карловны, сменившей за свою жизнь три фамилии — Шернваль, Демидовой и Карамзиной.

В свое время она была известным человеком в среде очень известных людей. И уж если зашла о ней речь, то не могу удержаться, чтобы не сказать об Авроре Карловне несколько слов, тем более что она, как оказалось, пожалуй, имеет некоторое отношение к теме этих заметок.

Это была интересная женщина с любопытной, достойной романа судьбой*. Дочь Выборгского губернатора, поразительная красавица и несомненная умница, она привлекала внимание многих примечательных людей своего времени. Ей, еще совсем юной девушке, посвятил свое стихотворение Е. А. Баратынский, явно не равнодушный к *Выборгской Венере*. Воспевали ее и другие поэты. О ней писал в письмах

* По словам уральских знакомых писателя и литературоведа Л. П. Гроссмана, он, будучи в эвакуации в Свердловске, писал такой роман. Кроме того, в 1922 году в Петрограде вышла отдельной книжкой поэма Г. Маслова «Аврора», посвященная Авроре Карловне.

к жене Пушкин, встречавшийся с Аугоге у общих знакомых. О ней писали П. А. Вяземский и В. А. Жуковский. На стихи Вяземского, посвященные Авроре Карловне, композитор М. Ю. Виельгорский написал романс, долгое время бывший популярным в кругу пушкинских знакомых. Ее портрет писал сам Карл великолепный — К. П. Брюллов. Знал ее и М. Ю. Лермонтов, посвятивший стихи ее сестре Эмили.

Но в личной судьбе Авроры Карловны было что-то роковое. Баратынский, к которому она тоже, кажется, была равнодушна, вскоре после их знакомства неожиданно заболел и уехал из Выборга. В 1834 году она стала невестой офицера и литератора А. А. Муханова, приятеля Пушкина, но за несколько дней до свадьбы жених скоропостижно умер.

Два года спустя Аврора Карловна вышла замуж за одного из богатейших людей России, владельца Нижнетагильских заводов Павла Николаевича Демидова. Золотой свадьбой называли это событие современники. Брак оказался непродолжительным — через четыре года, в 1840 году, Аврора Карловна овдовела.

Став опекуной своего малолетнего сына и совладелецей (вместе с сыном и братом мужа) заводов, молодая вдова переехала в Тагил и приняла на себя нелегкое дело управления громадным хозяйством округа. Через несколько лет Петербургская контора прислала ей в помощь своего представителя Андрея Карамзина, сына знаменитого историка. Аврора Карловна знала его по Петербургу и раньше. Еще в 1836 году мать Андрея, Екатерина Андреевна, писала ему, путешествовавшему в то время за границей, об Авроре: «...ты, вероятно, увидишь ее в Италии. Она обещала, что будет внимательна к тебе. Только не увлекайся до безумия, что часто с тобой случается при

знакомстве с хорошенькими женщинами, а эта уж очень хороша».

В тот год этого не случилось, а вот в 1846 году там, в Тагиле, давнее предположение матери оправдалось — Аврора Карловна дала согласие стать женой Андрея Карамзина.

Но и это ее замужество было недолгим. В 1854 году Андрей Николаевич уехал на фронт начавшейся русско-турецкой войны и спустя несколько месяцев погиб в одном из первых своих сражений — в Малой Валахии.

Сама Аврора Карловна надолго пережила своих близких и знакомых — она умерла в 1902 году 94-летней старухой...

Судьба роковой Авроры интересовала меня давно — в связи с некоторыми тагильскими загадками, в том числе и с загадкой тагильской «Мадонны». Но я не ожидал, что она же приведет меня еще к одной — новой загадке.

...Тогда библиотекой музея еще ведала Елизавета Васильевна Боташева, участница многих тагильских находок (в том числе и той, что описана И. Андрониковым), прирожденный, можно сказать, потомственный краевед (ее дед Д. П. Шорин, друг Мамина-Сибиряка, был известен как знаток своего края и страстный собиратель). Весьма солидную и очень ценную библиотеку музея, которой посвятила около сорока лет своей жизни, она знала прекрасно, до листочка в каждой книге, до отдельной бумажки в рукописном фонде. Почти всякий поиск в Тагиле начинался обычно с нее. Ее отличную память и безошибочную ориентировку в исторических материалах отмечали такие видные исследователи, как профессор В. Виргинский и Б. Кафенгауз, историк Л. Иофа, писатель А. Бармин, тот же И. Андроников и многие другие.

Вот и на этот раз я обратился за помощью к Елизавете Васильевне. И, конечно, не напрасно — откуда-то из недр огромных (еще демидовских!) шкафов появились и легли на стол материалы столь же любопытные, сколь и неожиданные, вплоть до писем свойственника Авроры Карловны — брата Наполеона, вестфальского короля Жерома Бонапарта и его дочери Матильды Монфор (жены Анатолия Демидова).

— Вот и бумаги Липранди тоже, наверное, связаны с нею, с Авророй, — добавила, как бы между прочим, всегда невозмутимая Елизавета Васильевна.

— Какие бумаги?! — наострив уши, встрепетнулся я.

— А помните, Эйдельман в «Неделе».

Как же не помнить! Незадолго до этого разговора в «Неделе» появилась статья литературоведа Н. Эйдельмана «Непрочитанный Пушкин» — о поисках пушкинских рукописей. В статье говорилось, что несколько писем и рукописей, в том числе «Дука» и «Дафна и Дабижа», были в свое время в архиве Липранди. Осколки этого, некогда очень солидного, собрания рукописей сохранились в разных архивохранилищах страны, но где его основная часть, остается неизвестным. «Надо искать архив Липранди!» — призывал автор статьи...

Так этот архив здесь?! Еще одна сенсационная тагильская находка!..

— Ну, не архив, конечно, а так — несколько тетрадей... — сказала, словно оправдываясь, Боташева.

И вот они на столе — пять тетрадей, исписанных ровным писарским почерком, рыжеватыми, такими характерными для XIX века орешковыми чернилами на успевшей пожелтеть бумаге. Но рукописи, видимо, авторизованы — на них подписи: «И. Липранди», а в тексте пометы и поправки.

Тетрадь первая (это для меня первая, а на ней над заголовком, стоит цифра VIII). «Краткий очерк этнографического, политического, нравственного и военного состояния христианских областей Турецкой империи. 3. Босния. Январь 1854 года».

Тетрадь вторая. Тот же заголовок, та же дата. «...4. Албания».

Тетрадь третья — «...Сербия», четвертая — «...Придунайские княжества»...

Даже раскрывать не хочется, так все это малоинтересно. Разве только историкам и этнографам Балкан будет любопытно. И то, конечно, в ретроспективном, так сказать, плане...

Еще тетрадь — большого формата. «IX. Рукописи на разных языках, относящиеся до турков, военные описания местностей, битв, политические и статистические взгляды и т. п.».

Что это — опись, каталог?

Да, опись. «Оглавление» уточняет ее разделы:

«1. Битвы и все, что относится к военным действиям, и секретные взгляды.

2. Военно-административные и секретные.

3. Военно-географические, военно-исторические, военно-статистические и т. п.

4. Политические и секретные.

5. Исторические, географические, статистические и т. п.

6. Смесь».

Во всех шести разделах перечислено свыше 160 рукописей.

Да еще в конце каждого раздела: «Смесь материалов, до этого отделения относящихся».

Ну и что же это за рукописи?

«Об удобстве и невыгодах кормить лошадей травой в лагерях. На французском языке. Полковника Липранди, вчерне. Яссы. Январь, 1829 год...»

«Рассуждение о путях к Адриатическому морю... май 1830 г.»

«Проект генеральной фуражировки под Шумлою. По высочайшему повелению. Полковник Липранди. Аванпосты при Шумле. 11 июля 1828 г.».

И прочие свидетельства того, что полковник (а потом генерал-майор и действительный статский советник) Липранди честно отрабатывал свой хлеб военного разведчика. Но все это действительно относящееся до турков, и едва ли нынче интересно даже историкам.

Впрочем, встречается нечто и более любопытное.

«Взятие Азова донскими казаками. Подлинная рукопись, писанная участниками-казаками в 1636 году»...

«Подлинное послание на болгарском языке из Филиппополя к полковнику Липранди о готовности болгар к восстанию в 1829 году»...

«Разные исторические, политические и т. п. сведения... со времен императрицы Екатерины II до первых лет царствования Александра I, собранные известным иркутским купцом Федором Жегориным, с запискою о его трудах. Современная подлинная рукопись. Толстая».

Если они не опубликованы, то ведь это клад для историков!

Да, но клад-то... неоткрытый!

Досматриваю последнюю страницу, и вдруг как удар тока —

«4. Дука, молдавское предание XVII века...

5. Дафна и Дабижа, молдавское предание 1663 года...»

Рука машинально шарит по столу в поисках следующей тетради — конечно же с «Дукой»... Но, увы, тетрадей всего пять, и эта, что в руках, последняя...

Конечно, я понимаю, Елизавета Васильевна не

держала бы «Дуку» втуне, чтобы поразить кого-нибудь из заезжих гостей музея, драгоценные пушкинские рукописи давно бы уже находились там, где им и надлежит быть — в Пушкинском доме Академии наук, и о находке их знал бы уже весь просвещенный мир. Но так велико желание увидеть, поддержать в руках эти «первые опыты в прозе молодого поэта», почувствовать себя присутствующим при значительном культурном открытии, что, право же, этот шарящий жест руки не кажется таким уж нелепым. Каким событием для всех почитателей Пушкина было бы это открытие его повестей, созданных на основе преданий о борьбе молдавского народа с его господами, в частности с Василием Дукой, поплатившимся жизнью за жестокое угнетение народа.

— Но, может быть... — умоляюще смотрю я на Елизавету Васильевну.

Нет, ничего не может быть. Это, увы, только опись. Елизавета Васильевна молча собирает тетради...

ЗАГАДКА «МОЛДАВСКИХ ПОВЕСТЕЙ»

Да, это лишь осколки большого некогда архива И. П. Липранди, и ничего значительного в них, кажется, нет. И все же я попросил снять для себя копию с тетради — каталога рукописей (назовем ее просто *описью*). Дома она укрылась в недрах письменного стола, не столь глубоких, однако, чтобы не выглядывать на поверхность. И когда мне попадалось что-то новое о Липранди, я заново, как бы свежим глазами внимательно перечитывал список его рукописей. И увидел, что опись ставит ряд интересных загадок.

Вот, например, легенда о легендах (то есть преданиях, обработанных Пушкиным в повести), столь волнующая умы литературоведов.

Что известно о них? Только то, что они были у Липранди в его бумагах.

Но были ли на самом деле повести-то? Кажется, никто этот вопрос обстоятельно не исследовал. Пушкинисты верили, что они были и, значит, возможно, где-то есть и сейчас.

Кому, чему верили?

А верили тому же Липранди, которому они якобы были переданы самим Пушкиным. По его, Липранди, словам...

В своих воспоминаниях, написанных и опубликованных в 1866 году в «Русском архиве», Иван Петрович как бы мимоходом сообщил следующее:

«...Не вижу в собрании его (Пушкина) сочинений даже и намека о двух повестях, которые он составил из молдавских преданий, по рассказам трех главнейших гетеристов *: Василия Каравия, Константина Дуки и Пендадеки... У меня остались помянутые копии, одна под названием «Дука, молдавское предание XVII века», вторая — «Дафна и Дабижа, молдавское предание 1663 года».

Но это — единственный источник сведений о «повестях».

Есть, правда, еще примечание к этим словам П. И. Бартенева — редактора журнала, публиковавшего эти воспоминания, известного биографа Пушкина и собирателя его литературного наследия. Он сделал такую сноску: «От себя Пушкин ничего не прибавил тут». На этом основании многие стали полагать: «по всей вероятности, их видел и читал в том же 1866 году редактор «Русского архива» П. И. Бартенев» (Богач Г. Пушкин и молдавский фольклор. Кишинев, 1963, с. 131).

* Участников гетерии (или этерии) — новогреческой тайной буржуазно-революционной организации.

Но ведь это примечание Бартенев мог сделать опять-таки со слов Липранди! Ни сам Бартенев, ни знавшие его лица нигде прямо не заявляли, что он видел и читал эти рукописи.

Такие доводы можно вроде бы опрокинуть словами самого Пушкина: «С прозой — беда! Хочу попробовать этот первый опыт». Литературовед В. Трубецкой сопровождает эту цитату своими словами: «...говорил поэт, работая над этими повестями».

А откуда известно, что он говорил это? Да опять-таки из воспоминаний Липранди.

Но, позвольте, скажут мне, так ведь эти рукописи числятся в описи архива Липранди!

В том то и дело, что опись говорит... Впрочем, читайте сами, о чем она говорит (привожу запись полностью).

«4. Дука, молдавское предание XVII века, приведено в порядок полковником Липранди. Яссы. 1831 год.

5. Дафна и Дабижа, молдавское предание 1663 года, приведено в порядок полковником Липранди. Яссы, май 1831 года».

Видите, как поворачивается дело?! «Приведено в порядок»! И не кем-нибудь, а самим полковником Липранди. Нельзя же думать, что Иван Петрович приводил в порядок, т. е. перерабатывал повести Пушкина. И не когда-нибудь, а в 1831 году, в мае, когда прошло уже семь лет, как Пушкин оставил Молдавию и уже снова жил в Петербурге. Более того — уже когда он написал (осенью 1830-го в Болдине) «Выстрел» с его героем Сильвио, прототип которого мы теперь знаем *. Мало того, можно добавить,

* Кстати сказать, сам Липранди почему-то счел нужным отречься от знакомства с «Выстрелом». В воспоминаниях он пишет: «...не помню этого рассказа и хотел бы знать источник».

что примерно за полгода до того, как в Яссах была поставлена дата «май 1831 года», в декабрьской книжке «Вестника Европы» за 1830 год появилась в записи студента Харьковского университета Александра Хашдау... легенда «Дука. Молдавское предание» *.

В свете этих фактов становится более понятным вопрос — почему Бартенев, человек, бесконечно любивший Пушкина, собиравший каждую кроху о нем, не опубликовал «повести» из архива Липранди (если, конечно, держал их в руках). Высказывалось предположение, что он не сделал этого по цензурным соображениям. Но это уж просто нелогично: Бартенев держал в руках немало пушкинских рукописей не менее «крамольных», однако сохранил же их! Уж хоть копию-то с них бы снял. В письмах бы друзьям поделился... Конечно, более убедительна версия, что Бартенев «повести» не видел и примечание свое писал со слов Липранди.

Но Липранди-то прямо указывал на Пушкина, без обиняков. Зачем бы это ему? Ведь всегда считалось, что воспоминания Липранди «единственные по богатству и точности сведений о кишиневском и одесском периодах жизни поэта»...

Всегда, но не сейчас. Уже давно подкапливались данные для сомнений в их безупречности. В последние годы молодые литературоведы все чаще и чаще стали замечать у Липранди какие-то странные несоответствия и ошибки, труднообъяснимые для «единственных по точности» воспоминаний.

Так, исследователи заметили, что Иван Петрович пытался приписать Пушкину нелестный отзыв о П. И. Пестеле. Липранди не мог знать того, что знаем мы,— записей Пушкина в его кишиневском

* В 1838 году Болеслав Хашдау опубликовал в «Сыне отечества» другую легенду — «Дабижа».

дневнике, где он весьма высоко и уважительно отзывается о вожде декабристов. Обратили внимание на то, что Липранди в воспоминаниях приписывает Пушкину свой шовинизм — насмешки над молдавским языком, что не греки-гетеристы, а молдаване сообщали ему сюжеты тираноборческих преданий. Уличили Ивана Петровича и в том, что он, профессиональный военный разведчик, пишущий по дневнику, путает почему-то хорошо известные ему номера полков, даты и место действия...

И уже в литературоведческих трудах теперь можно встретить такие далеко идущие (хотя, может быть, и не безусловно аргументированные) обобщения, как, например, резюме молдавского литературоведа Г. Богача в его работе «Пушкин и молдавский фольклор»: «Детальное изучение вопроса убеждает нас в том, что в воспоминаниях Липранди содержится явная мистификация, умышленная подмена лиц и плохо прикрытое сведение личных счетов мемуариста с ненавистными ему молдаванами. К сожалению, в воспоминаниях Липранди это не единственная ложь и мистификация. Многие из его выдумок уже разоблачены, но очень многое в этом же направлении следует еще сделать. Изошренного провокатора, шпиона и предателя, так невыгодно и так ложно обрисовавшего великого поэта даже в этом с виду незначительном эпизоде, следует проверять даже в мелочах, тем более тщательно, что уже на протяжении почти полного столетия его «Заметки» используются как ценнейшие и достовернейшие материалы для освещения кишиневского периода жизни и творчества Пушкина».

Сказано это, пожалуй, излишне запальчиво, но... А что, если история с «Молдавскими повестями Пушкина» и в самом деле очередная мистификация Ивана Петровича?

УМОЗАКЛЮЧЕНИЯ ИЛИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА?

Как ни запальчиво резюме Г. Богача, однако надо сказать, что основания для подозрений есть, и довольно веские. Над Иваном Петровичем всегда — и при жизни, и после смерти — висел ореол таинственности, загадочности. Пожалуй, не без его участия висел. И хотя изредка исследователи, а порой и он сам приоткрывали завесу то над одним, то над другим тайным местом или эпизодом его жизни, все же много таких местечек так и остались невысветленными. Можно думать, что опять-таки не без участия его самого.

Ну, например, следующие немаловажные моменты.

Был ли Липранди в 1820-е годы политическим осведомителем или нет? Когда стал им (а что стал, в доказательствах не нуждается)? Какова его причастность к движению декабристов, к Союзу Благоденствия?

Заметим сразу — это вопросы немаловажные. От ответа на них может зависеть прояснение некоторых событий тех лет, связанных с Пушкиным и декабристами.

О том, что Липранди в 20-е годы уже вел наблюдения не только за противником и за «фонтанами в Базарджике и его окрестностях для распределения оных для разных частей войск» (упомянута и такая рукопись в его тагильской описи), но даже и за начальниками, свидетельствует, например, его сочинение «Характерные черты некоторых главных лиц армии в продолжении кампании 1828 года», составленное в Калараше в марте 1829 года. Рукопись эта числится под № 7 в разделе четвертом описи, озаглавленном: «Политические и секретные». Именно так...

Жаль, что ее нет в наличии, кто знает, может быть, именно она помогла бы выяснить некоторые

характерные черты самого И. П. Липранди в тот период.

Но это все-таки конец 20-х годов, уже после восстания декабристов. А как обстояло дело раньше, в начале двадцатых, в период, более важный для нас? Был ли уже тогда Липранди осведомителем?

Доказательного ответа на этот вопрос пока нет. Дело это чрезвычайно трудное и, надо сказать... щекотливое.

Судите сами. Обличающих документов нет (скажем точнее — пока не найдено). Свидетельства современников — В. Ф. Раевского, С. Г. Волконского, Ф. Ф. Вигеля, например, разноречивы или уклончивы. А каждому исследователю, касающемуся этого вопроса, хочется поставить точки над *i*. Вот и приходится строить версии, толкуя одни факты так, а другие этак (благо они это позволяют) и конструируя логическую схему на основе предубеждения. Это было бы терпимо, если бы такое выдавалось за рабочую гипотезу. Но, к сожалению, чаще всего на основании таких умозаключительных схем делались и делаются категорические выводы.

И не удивительно, что они при этом получаются у разных исследователей разными, иногда — диаметрально противоположными.

В 9-м выпуске сборника «Пути в незнаемое» (М., «Советский писатель», 1972) напечатано блестящее эссе Н. Эйдельмана «Где и что Липранди?..» Привлекая новые материалы — результат своих широких поисков, — автор пытается в свете их по-новому посмотреть на эту своеобразную личность. Как ни остроумны многие догадки Н. Эйдельмана, как ни занимательны его логические построения, это все-таки только новая версия. И она мало чем отличается от версии, выдвинутой в свое время (1941 год!) П. А. Садиковым, версии, которую условно можно

было бы назвать вариантом метаморфозы. Неопровержимых доказательств нет и здесь.

Не будем пока вклиниваться в этот спор и строить еще одну версию. Отметим другое: тут следовало бы провести профессиональное следствие — дотошное, непредвзятое, по всем правилам криминалистики, с пересмотром многого, принятого ранее на веру, с целенаправленным поиском пусть косвенных, но неопровержимых фактов и документов.

Конечно, при этом нужно помнить и о *презумпции невиновности* для устранения всякой возможности предвзятости, но и не возводить ее в фетиш. В данном случае это не столько вопрос этики, сколько логики: не доказано — не аргумент. К тому же необходимо различать юриспруденцию и историю. Так, производить обыск в квартире только по подозрению — безнравственно и незаконно, однако никто не винит археологов, когда они без санкции прокурора обшаривают каждую пядь раскопанного ими жилища новгородского посадника. Так же и вопрос: был ли Борис Годунов убийцей царевича Дмитрия? — ныне относится к компетенции истории, а не уголовного кодекса.

Нет документов? Да, ни в делах следствия по делу декабристов, ни в архивах пресловутого III отделения, корпуса жандармов или департамента полиции, документов с осведомительскими донесениями Липранди 20-х годов или с упоминанием его имени в этом аспекте пока не найдено. Но это не значит, однако, что их не было — они могли быть и еще могут найтись. Дело было деликатное, и кто знает, к каким средствам конспирации мог прибегнуть профессиональный разведчик, если его собирались надолго внедрить в среду, о которой правительству хотелось знать возможно больше из первых рук.

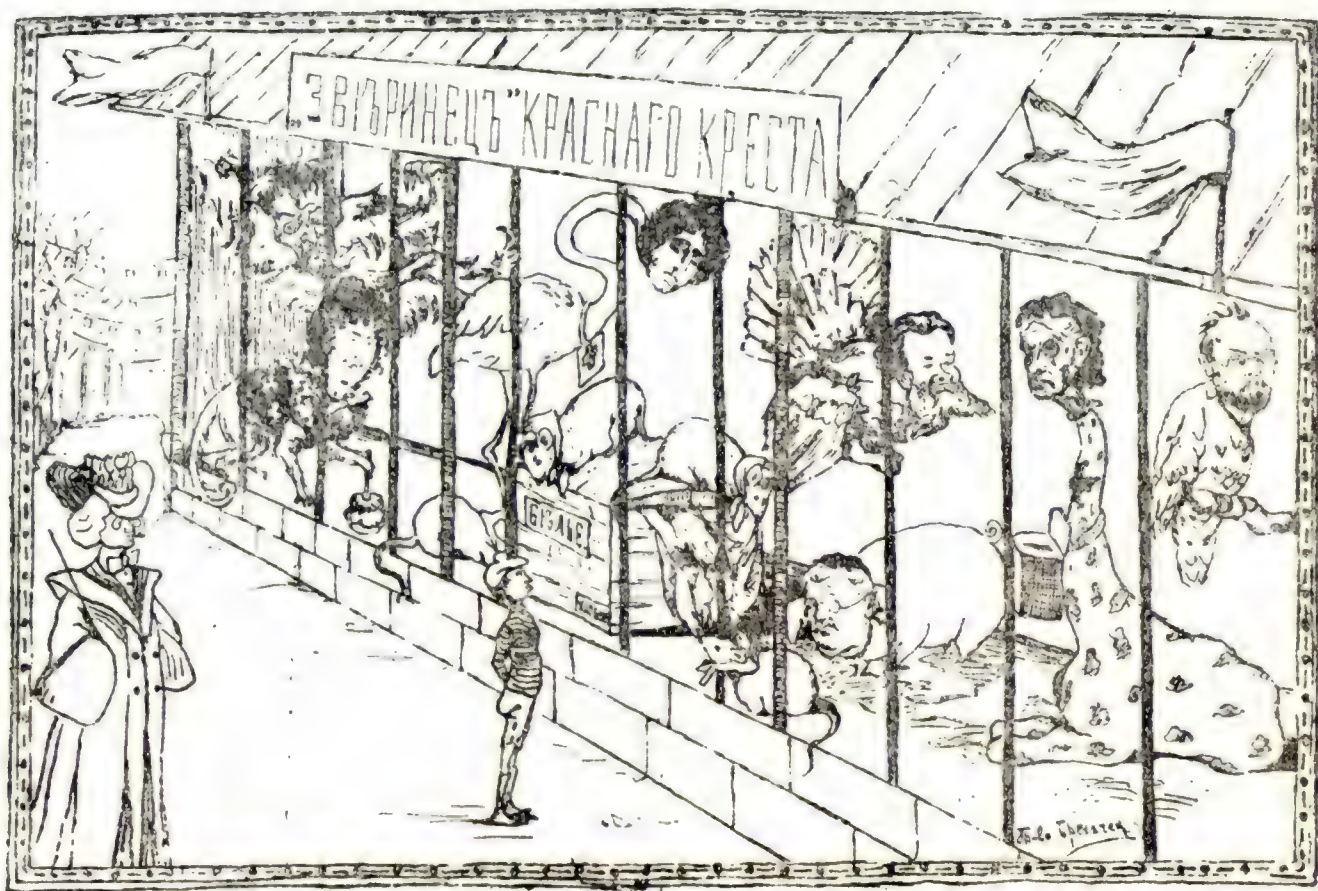
Смена личины... Как не прийти на ум этим сло-

вам, когда читаешь потрясающую по своему откровенному цинизму тираду самого Липранди:

«Во время разгара страстей легче подмечать слабые их (умов.— Ю. К.) стороны. Для того необходимо только избрание лица, вмещающего в себя не одни только умственные способности, но и необходимые свойства: народность *, умение привлечь к себе расположение, ибо я никак не допускаю себе думать, чтобы человек, ловкий в обращении, проницательный не мог сделать скоро связей, и, иду еще далее, чтобы он не приобрел доверенности, для чего нужно два-три ничтожных случая, которыми уметь только воспользоваться...» **

* Здесь, конечно, в смысле — маскировка под народность.

** Цитирую по статье С. Штрайха «Знакомец Пушкина — И. П. Липранди». — Красная новь, 1935, кн. 2, с. 215.



Карикатура М. и В. Тихачев в журнале «Гном».

ПОДПИСИ К ИЛЛЮСТРАЦИЯМ

Рис. 1. Ян Тихачек.

Рис. 2. Иосиф Тихачек.

Рис. 3. Записка Д. Н. Мамина-Сибиряка.

Рис. 4. А. А. Ольхин.

Рис. 5. Елизавета Гадмер.

Рис. 6. Тагильская «Мадонна».

Рис. 7. Фрагмент картины до реставрации.

*Рис. 8. Страница из дневника В. А. Жуковского
с кроками пути.*

*Рис. 9. План дома в Перми, где останавливался
В. А. Жуковский. Страница из дневника.*

Рис. 10. Екатеринбург, 27 мая. Рисунок В. А. Жуковского.

Рис. 11. Тобольск. Рисунок В. А. Жуковского.

Рис. 12. Орская крепость. Рисунок В. А. Жуковского.



Рис. 1



Рис. 2

17 июля 1872

Маски, книга "Пензенцы".

Монастырские расписки.

Кудряшки, издательский листок
по В. С. "Имена" и "Особенности речи".
Угрюмов и товарищи с издательством
Ведомств.

Д. М. М. Сидорова.



Рис. 4



Рис. 5



Рис. 6



Рис. 7

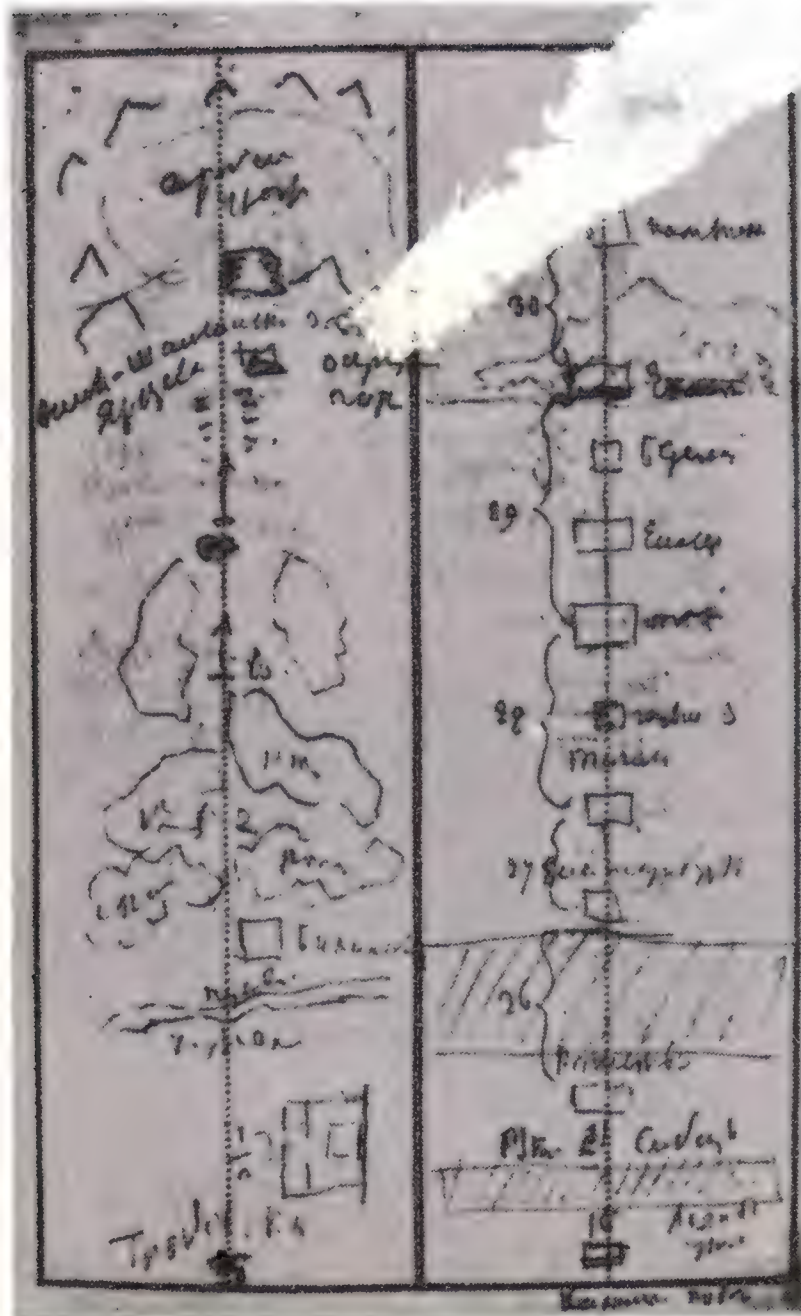


Рис. 8

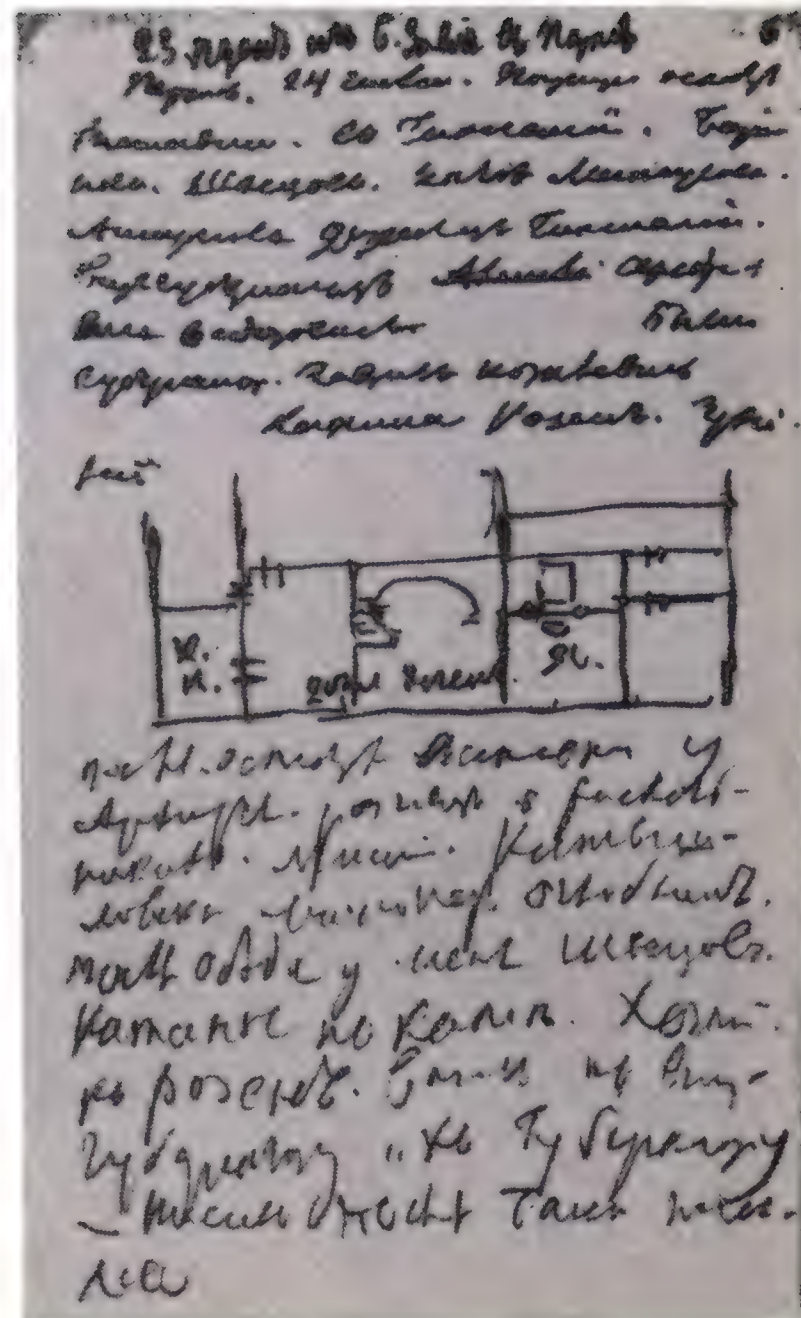


Рис. 9

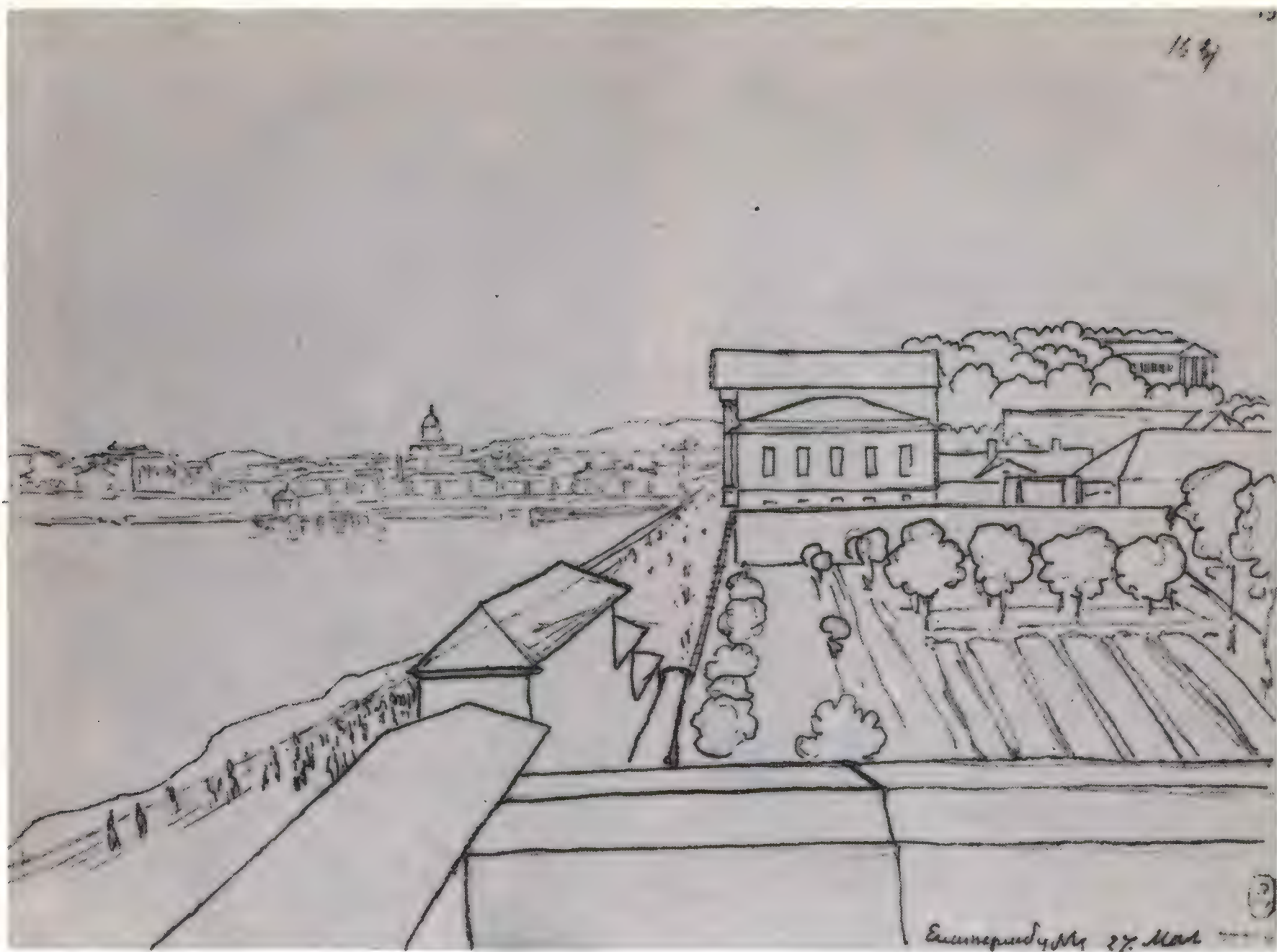


Рис. 10





Рис. 12









Правда, он писал это в 1860-х годах, уже обогащенный провокаторским опытом по делу о кружке Петрашевского, где в соответствии с подобными же его инструкциями действовал его агент и выкормыш Антонелли. Но — обратите внимание! — как этот портрет, вернее личина идеального провокатора, напоминает самого Ивана Петровича периода 1820—1826 годов!

В самом деле: «разгар страстей» был. «Лицо... имеющее необходимые свойства» — сам Иван Петрович — имелось. «Ничтожные случаи», которыми надо было «уметь только воспользоваться», предоставлялись ему в то время в достатке.

Но это лишь умозаключение, а не бесспорное доказательство. И я его привожу, не настаивая на его достоверности, только как пример сложности вопроса. И обвинять, и оправдывать надо доказательно. Умозаключение базируется на логике, доказательства — на фактах, на документах. Пусть не на таких прямых, как позорная «Записка» о кружке Петрашевского, а на косвенных.

Тогда-то, может быть, и пригодятся «тагильские тетради» Липранди, особенно «Опись». Вот, скажем, пресловутые неоднократные отставки Ивана Петровича. Некоторые исследователи даже приводят их в доказательство «обид» Липранди на свое начальство и — как следствие — уход от надоевших ему разведывательных дел.

Но даты и место написания рукописей, аккуратно проставленные Иваном Петровичем в тагильской «Описи», говорят о другом — что он и в эти годы не оставляет разведывательной службы, только несет ее, так сказать, в тени: составляет докладные записки, обрабатывает секретные донесения и т. п. Вспомним, что Пушкин, рисуя портрет отставного офицера Сильвио со своего доброго знакомого Липранди (при

Пушкине в Кишиневе тоже пребывавшего некоторое время в отставке), вставил примечательную, на наш взгляд, фразу: «Источники его доходов были покрыты для всех тайной». И если порыться в платежных документах штаба Воронцова за те годы, может быть, там встретится и фамилия Липранди, «состоявшего в отставке»?

Таких ниточек в тагильской «Описи» можно найти не одну.

ВАЛАХИЯ — ТАГИЛ?

Даже судя только по тагильской «Описи», архив Ивана Петровича Липранди был огромным, как-то непостижимо большим для кочевого образа жизни его хозяина.

Но был архив — и нет его. Правда, довольно значительное количество бумаг сохранилось в разных наших архивах (ЦГИА СССР, отделах рукописей публичных библиотек Москвы и Ленинграда, Исторического музея, Пушкинского дома и в других), однако многого, в том числе главного, что хотелось бы видеть, нет. Нет писем Пушкина и бумаг, связанных с его именем, нет дневника Липранди, который он вел, как сам засвидетельствовал в печати, «с мая 1808 года и по сей день (1870-е годы.— Ю. К.), включая в себя все впечатления дня до мельчайших подробностей, *никогда не предназначавшихся для печати*».

Куда это все девалось — исследователи до сих пор гадают. Возможно, что было укрыто за границей (на это намекал сам Иван Петрович), возможно, что уничтожено или пропало. Но весьма возможно, что сохранилось где-то в неожиданном месте. Ведь вот нашлись же в Ташкенте 189 книг с подписью Липранди.

И вот еще — Тагил...

Но как же попали тетради Липранди в Тагил? Нет ли здесь и других его бумаг? Увы, других бумаг пока не найдено. А что касается истории тех, что есть, то она таинственна, как и все, что связано с именем Липранди *. Тут можно высказать лишь одно предположение. Оно связано с именем Авроры Карловны, о которой говорилось выше.

Здесь стоит вспомнить, что самые поздние рукописи, перечисленные в «Описи» Липранди, датированы 1854 годом. А именно в это время... Впрочем, расскажем по порядку.

Муж Авроры Карловны, Андрей Николаевич Карамзин, хотя и учился в Дерптском университете, стал военным и с 1838 года служил в конной гвардии. В 1848 году, после женитьбы и затянувшейся на целый год свадебной поездки во Францию, вышел в отставку и стал помогать жене в управлении тагильскими заводами (приезжал сюда в 1849 и 1853 годах). Однако, когда в июне 1853 года началась русско-турецкая война, отставной гвардейский подполковник снова надел военную форму и в марте 1854 года вступил в гусарский полк Дунайской ар-

* Таинственность и загадочность, окружавшие имя Липранди как при его жизни, так и после смерти, каким-то роковым образом откликнулись и в истории с тагильскими тетрадями. Когда спустя год после знакомства с ними я снова приехал в Тагил, оказалось, что их... нет.

В библиотеке музея был уже новый работник. Бумаги Липранди не имели отдельного инвентарного номера и при передаче не фигурировали, так что трудно было даже установить, когда и при каких обстоятельствах они исчезли. И вдруг тетради снова выплыли на свет божий. И тоже необычным образом — одна была подкинута в почтовый ящик работника музея, другая обнаружилась в том же музее, на шкафу, третья подброшена в отделение милиции, остальные — еще куда-то.

мии (уже в чине полковника). Увы, боевая служба его продолжалась недолго — 16 мая, безрассудно приняв неравный бой с превосходящим по силам и по обстановке противником, он погиб сам и погубил свой отряд.

Это случилось в Малой Валахии, под городком Крайовом. Тело его предали земле там же, но Аврора Карловна, очень любившая мужа, немедленно по получении известий о его гибели отрядила на место событий посланца — секретаря покойного, Иосафата Огрызко. Служащий (библиотекарь) Тагильской конторы, ссыльный поляк Адольф Якушкевич, писал в те дни родным: «...Желая хоть чем-нибудь утешиться, пани Аврора посылает на берег Дуная Огрызко, чтобы тот приложил все усилия к розыску останков ее милого мужа». Посланец выполнил миссию — разыскал и привез останки своего бывшего шефа. И, возможно, не только останки, но и остатки его имущества. Не с ними ли и были прихвачены бумаги Липранди, которые могли оказаться в те дни у А. Н. Карамзина?

Конечно, это лишь предположение, но стоит заметить, что начальником Карамзина, командиром 30-тысячного отряда Дунайской армии был... Липранди. Нет, не Иван Петрович, а его брат Павел. Но и сам Иван Петрович имел отношение к операциям на Дунайском фронте — опять-таки как военный разведчик. Полковник Карамзин только что прибыл в действующую армию, и рукописи о Боснии, Албании, Сербии и Придунайских княжествах были ему необходимы для ознакомления с военно-историческими и экономико-статистическими материалами о театре военных действий.

Пока в Тагиле обнаружилось только пять тетрадей Липранди. Но может, их было больше? Фонды местного архива, в частности, так называемый «Ча-

стный фонд Демидовых», где хранится переписка и прочее, исследованы слабо. Так что ожидание новой неожиданной находки не так уж безнадежно.

Но есть и еще ниточки и зацепки. Иосифат Огрызко, ездивший в Валахию за телом и имуществом А. Н. Карамзина, был не просто секретарем «состоятельного лица», но и в какой-то степени его другом. Впоследствии он стал видным польским политическим деятелем, издателем газеты «Слово», в 1864 году был арестован за прикосновенность к восстанию 1863 года, приговорен к смертной казни, замененной каторжными работами. Имел он какое-то отношение и к герценовской вольной печати. А что, если пан Иосифат, оказавшись он причастным к тетрадам Липранди, оставил что-то из бумаг и себе? Ничего невероятного в этом нет.

Нет, перспективы поисков не безнадежны. Подождем, проживем и, может быть, увидим — и новые документы, проясняющие истинное лицо И. П. Липранди, и те самые «Две молдавские повести», о которых мы так и не знаем главного — писал ли их Пушкин или... мы просто неправильно понимаем слова о них Ивана Петровича. «Дело Липранди» не кончено. Оно ждет продолжения.



ПРИКЛЮЧЕНИЯ «МАДОННЫ»

Летом 1971 года в Свердловскую картинную галерею с большими предосторожностями был доставлен тщательно упакованный плоский ящик. Встретить его, как почетного и долгожданного гостя, вышел весь наличный состав сотрудников. Еще бы — в нем вернулась на Урал, на место своего второго рождения, картина, судьба которой поистине удивительна, во многом загадочна и, безусловно, замечательна. Она долгое время была объектом жарких споров, так и не приведших к единому решению, почему и хранилась более сорока лет в запасниках одного из московских музеев.

А история картины началась... Впрочем, начать ее нужно, пожалуй, не с самого начала, а с одного сравнительно недавнего эпизода этой истории, которая насчитывает уже более четырех с половиной веков.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. 1924

Сейчас уже трудно восстановить в точности и со всеми деталями, как это произошло, — свидетели не дожили до наших дней и письменных показаний своих не оставили, а газетные заметки того времени очень разноречивы. Но выглядело это примерно так.

...В марте 1924 года в Нижнем Тагиле завхоз металлургического треста Иван Васильевич Колеватов заглянул в кладовую одного из принадлежащих тресту домов, где раньше останавливались видные гости

старых заводовладельцев, и увидел там грязную, закопченную доску. Вначале он принял ее за обломок столешницы, но, заметив на ней следы живописи, решил, что перед ним икона.

Колеватов и сам не придавал значения своей находке и, вероятно, выбросил бы ее, как выбрасывали тогда на свалку тысячи икон, не задумываясь об их возможной художественной ценности, но тут помог случай. Дело в том, что в этом же доме завхоз тогда же обнаружил ценные вещи и картины и сообщил о них директору недавно созданного и еще не открытого краеведческого музея Александру Николаевичу Словцову. Словцов же, хотя и не был искусствоведом, да и музейным работником-то стал лишь недавно, однако, может быть, именно поэтому отнесся ко всему найденному, в том числе и к невидной доске, с особым вниманием и забрал все в музей.

В музее он обтер доску от грязи влажной тряпкой, а через несколько дней, подумав, решился осторожно промыть ее. Промыл — и... По оборке ворота платья какой-то женщины, по-видимому, католической мадонны, засверкали золотые буквы:

RAFAEL URBINAS PIN...

Дальше надпись обрывалась, доска оказалась лишь обломком иконы или картины. Словцов ахнул — подпись великого мастера Возрождения Рафаэля! Хотя и не специалист, он все же понимал, что открытие новой картины Рафаэля — сенсация мирового масштаба, переоценить которую невозможно. Поэтому сразу же отправил немногословное, но ликующее сообщение в Главнауку, ведавшую тогда всеми музеями страны.

Увы, как ни странно, ответа не последовало, сенсации не произошло. Заметки в местных газетах хотя и были сенсационными по тону, но прошли как-то незаметно.

Это, пожалуй, и понятно. Массовый читатель привык к тому, что в эти годы из частных собраний бежавших от революции богачей извлекались сокровища, одно ценнее другого. А узкий круг специалистов, в свою очередь, привык к тому, что на местах в провинции, увлеченной примерами подобных открытий, в каждой старой картине видели сенсацию — то Леонардо да Винчи, то Тициана, то Рембрандта, а чаще всего почему-то Рафаэля. Желаемое выдавалось за действительное, но не из корысти, конечно, а чтобы не пропустить, спасти для культурной сокровищницы страны все художественные ценности, рассеянные ранее в частных руках, а потому скрытые от народа.

Но Александр Николаевич Словцов упорно продолжал считать свою находку сенсационной.

А, собственно говоря, почему бы и не быть Рафаэлю в Тагиле?! Взгляните-ка вы на то, что уже удалось собрать молодому музею: холсты Брюллова и Корреджо, мрамор Кановы и Шубина... И это все, вне всяких сомнений, подлинники, а не копии или там подделки. Отчего бы в этой знатной компании не оказаться и Рафаэлю?

Бережно (но все-таки, конечно, неумело) отмытую доску выставили в музее в день его открытия — 31 марта — для всеобщего обозрения. Тагильчане охотно ходили, смотрели, но, кажется, не столько дивились находке — о сокровищах демидовских хором было ведано и раньше, — сколько гордились ею, уверенные к тому же, что «у нас еще и не то найтись может», хотя, казалось бы, куда еще дальше Рафаэля может завести самая заманчивая мечта...

Дивились больше другому: почему это картина-то не вся — видно же, что только одна часть ее. А где другая?

Словцов и сам не знал. Ту кладовую, где была

найдена доска, он уже не раз обшарил самым тщательным образом. Обследовал — тоже безуспешно — и другие помещения этого дома по улице Тагильской.

И все же продолжение не заставило себя ждать. Оно явилось в музей спустя несколько месяцев в руках того же И. В. Колеватова, который горделиво считал себя (и не без основания) соучастником сенсационного открытия. Однажды он с сияющим видом вошел в кабинет Словцова и торжественно положил на стол нечто, бережно завернутое в холстину.

— Вот... Думаю, однако, что Рафаэль это наш. Остаточек...

Как он объяснил, принесенная доска была найдена в каком-то сарае уже совсем другого дома.

Новую доску наскоро обиходили и приложили к той, музейной. И обрадованно вздохнули — да, это была вторая, недостающая часть картины. Стало возможно прочесть и конец авторской подписи, выведенной на вороте платья мадонны:

RAPHAEL URBINAS PINXIT MDIX

то есть — Рафаэль Урбинский писал в 1509 году.

Ну какие же еще теперь могут быть сомнения?! И Словцов с новой силой стал *пробивать* в люди тагильскую «Мадонну» — слал письма в область, в Москву... Увы, ответом и на этот раз было молчание, если не считать нескольких новых заметок в местных газетах.

И лишь в августе 1925 года профессор И. Э. Грабарь, ехавший по заданию Главнауки в Северное Прикамье, решился, хоть и не без досады, на вынужденный крюк, завернуть в Нижний Тагил. Он уже давно знал, что там найден якобы подлинник Рафаэля, но, как он сам писал впоследствии: «Так как из провинции не раз уже приходили подобные сенсации, то и этому известию никто не придавал особой веры». И далее: «Когда в холодную дождливую ночь я

ехал... с Тагильского вокзала в город, проклиная это вынужденное и явно нелепое путешествие, у меня не было никаких иллюзий на счет предстоявшего мне на утро посещения местного музея, где находился новоявленный «Рафаэль»...

Выдающийся знаток и исследователь русского и зарубежного искусства, сам знаменитый художник, Игорь Эммануилович знал цену истинным открытиям, и его скепсис можно было легко понять. Далекий Урал, какой-то Тагил... Откуда тут быть Рафаэлю?

Однако, войдя в музей, он вынужден был сменить маску корректного скепсиса на столь же корректно скрытое удивление. Мраморный бюст Демидова работы знаменитого Антонио Кановы, одного из основоположников академического классицизма, великолепный портрет Авроры Шернваль, известной петербургской красавицы пушкинской поры, кисти великого Карла Брюллова, полотна старых итальянских мастеров, среди которых — смотрите! — Корреджо!..

Грабарь, конечно, знал о колоссальных художественных богатствах, собранных владельцами Тагильских заводов Демидовыми во Флоренции, Париже и Петербурге, но кто бы мог подумать, что они потащат такие сокровища в какой-то Тагил, где сами бывали один-два раза в жизни наездами, а иные и совсем не заглядывали туда!..

— Так где же ваш... гм... Рафаэль? — осведомился профессор, оглядывая зал.

Его подвели к прислоненной к стене доске, уже склеенной и отмытой от грязи. Поправив пенсне, Грабарь уселся на предупредительно подставленный ему стул, окинул картину общим цепким взглядом знатока и углубился в детальное обозрение ее.

На ней была изображена прекрасная юная женщина-мать, поднимающая кисейное покрывало над

постелью только что проснувшегося младенца. В ее взгляде любовь и нежность, умиротворенное счастье материнства и вместе с тем как бы затаенная печаль заботы о будущем сына. Еще чуть сонный, младенец узнал мать и обрадованно тянет к ней ручонки. Несколько сзади женщины, в тени, стоит, задумчиво опираясь руками на посох, немолодой бородатый мужчина, с благоговением взирающий на этот трепетный, выхваченный из вечности миг материнского счастья.

Этот волнующий сюжет подан, как бы сказать, в религиозном аспекте — здесь не просто счастливая семья, а «святое семейство»: Богородица (по итальянски — мадонна), младенец Иисус и его отчим Иосиф. Но, хотя это, по сути, христианская икона, сюжет ее свят народам всех вероисповеданий и всех времен не принадлежностью к скрижалям библейской истории, а сокровенной близостью к их собственной — каждого человека — жизни.

...Грабарь с нарастающим интересом вглядывался в детали живописи, особенно в подпись.

Сотрудники музея, правда, смотрели в этот момент не на картину, а на лицо профессора — что отражалось на нем. Что-то он скажет о их Рафаэле?

Наконец Грабарь повернулся к присутствующим в зале. Что же, эту картину он... знает.

Знает?!

Как же ему было не знать этот всемирно известный шедевр, описанный каждым мало-мальски серьезным биографом великого художника Возрождения? Знал он и историю картины, о которой писал, что она «...так сложна, отдельные эпизоды ее полуфантастической судьбы до того запутаны и в них столь явно переплетена действительность с вымыслом, что рассказ о ней скорее похож на увлекательный, захватывающий роман, нежели на объективную хронику.

Действующими лицами этого романа являются папы, кардиналы, императоры, короли, знатоки и любители искусства наряду со спекулянтами и шарлатанами. Главная героиня его не живое существо, создание человеческого гения, интригу ведет не женщина Возрождения — обаятельная и властная, сердечная и жестокая, наивная и лукавая, — а «мадонна», не менее обаятельная и властная, покоряющая, гипнотизирующая, толкающая на лукавство, обман, вероломство и преступления, среди которых она внезапно исчезает, чтобы навеки кануть в неизвестность».

Трудно сказать об этом лучше! Но, увы, роман такой до сих пор не написан. Создана лишь канва для него, правда, тоже увлекательная и захватывающая, в виде той объективной хроники, о которой говорилось выше. Хроника эта представляет собой большую статью И. Э. Грабаря «Мадонна del Popolo» Рафаэля и «Мадонна с покрывалом» из Нижнего Тагила», опубликованную в 1928 году во втором сборнике Центральных государственных реставрационных мастерских «Вопросы реставрации».

Как-то неловко и даже обидно излагать сокращенно своими словами эту мастерски поданную хронику, но что делать, если она публиковалась лишь однажды, в сугубо специальном сборнике, давно уже ставшем библиографической редкостью...

РИМ, 1509 — ЛОРЕТО, 1797

Была в прошлом эпоха, оставившая яркий след в истории человечества. Ее называли Ренессансом или, по-русски, Возрождением. Это и в самом деле было возрождением красоты и силы человеческого духа после схоластики и аскетизма средневековья, поры духовной диктатуры церкви, когда наступил блестящий расцвет науки, литературы и искусства. Гума-

низм — культ Человека стал их ведущей темой. Поэты, философы, музыканты, художники каждый по-своему, воспевали неисчерпаемые богатства духовных сил человека, красоту природы, вечного источника жизни. Ф. Энгельс сказал, что это была эпоха, «которая нуждалась в титанах и которая породила титанов по силе мысли, страсти и характеру, по многосторонности и учености».

Одним из таких титанов и был Рафаэль Санцио, родом из городка Урбино.

В 1508 году он, еще молодой — двадцатилетний, — но уже известный художник, переселился из Флоренции в Рим. Его земляк из Урбино, архитектор и художник Браманте, строивший по заказу папы Юлия II новые залы его дворца — Камера делла Сеньятура, — уговорил папу доверить фресковую роспись этих зал входящему в славу молодому *dipintore Fiorentino*, то есть «живописцу из Флоренции», как подписывал тогда свои картины Рафаэль.

Рафаэль молод, красив, беспечен, не беден (хотя и не богат), полон сил и творческих порывов. Во Флоренции он в моде, завален выгодными заказами, но Рим, эта *caput mundi* (глава мира), художественная столица Европы, пышный папский двор, избранное общество поэтов, музыкантов, художников, архитекторов и ученых, среди которых такие титаны, как Микельанджело и Леонардо да Винчи, — как не бросить все ради возможности работать там!

Баловень судьбы, он и здесь быстро добился успеха. Прошло лишь несколько месяцев, а Рафаэль уже любимый художник папы, официально провозглашенный *живописцем папского двора*. Юлий II, деятельно покровительствовавший искусствам, восхищен первыми же его работами. Он приказал сбить все уже законченные и незаконченные росписи, сделанные ранее в Камере делла Сеньятура, чтобы

заполнить их фресками Рафаэля. Мало того, папа оказывает новому любимцу высший знак внимания — позирует ему для портрета. Рафаэль с увлечением отдался работе, и портрет Юлия II стал одним из высших достижений его кисти.

Слава, обеспеченность, любовь, преданность учеников, уважение коллег — все это шло, как в золотом сне. Не омраченная заботами, приподнятая от успехов и от сознания своей силы душа художника вдохновенно пела...

Именно в это-то время, если верить дате на подписи, и была создана картина, ставшая известной миру под именем «Мадонны дель Пополо».

...Значит, Грабарь мог видеть эту картину?..

— Да... И не одну,— мог бы ответить, улыбаясь, Грабарь, глядя на изумленные лица собеседников.

Я не знаю, рассказывал ли он тогда, в Тагиле, то, что, безусловно, мог рассказать и что рассказал потом в своем уже упомянутом выше труде.

Да, он видел не одну такую картину — то точь-в-точь похожую, то с незначительными вариациями в деталях. Но ни об одной из них искусствоведы не могли сказать точно, что именно ее писала кисть Рафаэля. Дело в том, что...

...Когда и как эта «Мадонна», вместе с написанным тогда же портретом Юлия II, оказалась в церкви Санта-Мария, что на улице Пополо в Риме, теперь уже выяснить трудно, если не невозможно. Но в конце 1540-х годов обе картины видел там автор известных «Жизнеописаний» мастеров Возрождения, архитектор, живописец и историк искусства Джорджо Вазари. Они мирно висели в этом небольшом, но богатом монастырском храме, вызывая восхищение ценителей искусства. «Мадонна дель Пополо» считалась одним из чтимых шедевров Рима.

Однако спустя еще полвека ни «Мадонны», ни «Юлия II» в этой церкви уже не было. Их судьбу раскрыла обнаруженная много лет спустя приписка на полях книги Вазари, сделанная рукой Алессандро Тассини — юриста папского двора и знатока многих его тайн. Отчеркнув строки, в которых сообщалось об этих картинах, Тассини, безусловный свидетель всех важных событий тех лет, писал: «Обеими названными картинами в 1591 году, во времена Григория XIV, почти насильно, при всеобщем негодовании Рима, завладел племянник папы, кардинал Сфондрато, давший взамен монастырю нищенскую сумму в сто скуди».

Что же, в короткое и позорное папство Григория XIV, как известно, и не то еще бывало. А все- сильный Сфондрато, уже через две недели после избрания дяди на папский престол ставший фактически регентом государства, даже не видел в таком изъятии ничего зазорного: своя рука — владыка.

Но дядя-папа недолго восседал на престоле, меньше года, — в октябре 1591 года умер. Кардиналу Сфондрато пришлось уйти в тень, принять епископскую кафедру сначала в Кремоне, а потом в Альба-но. Однако с благоприобретенными шедеврами он, конечно, не расстался — еще в 1595 году их видел у него германский посол Корадуш. Видел и даже пытался по поручению своего императора прицениться к ним. Но кардинал заломил такую цену, что император вынужден был отказаться от мечты видеть эти картины в своей галерее.

И вот тут наступает момент, когда достоверные следы картин из собрания Сфондрато, в том числе «Мадонны дель Пополо» и портрета Юлия II, теряются. Корадуш был последним свидетелем, который мог утверждать, что видел именно их, а не копии или подделки.

В 1618 году Сфондрато умер, имущество его по завещанию досталось кардинальской церкви св. Цецилии. Но картин там не оказалось — они исчезли!.. То ли оборотистый кардинал сумел все же сплавить их кому-то, то ли монахи распорядились ими по-своему, то ли... кто знает, куда еще делись они.

Век с лишним о них, как говорится, не было ни слуху ни духу. Но вот одна из картин как будто явилась на свет божий из неизвестности. В 1717 году в ризницу Санта Каза небольшого (тысяча жителей) анконского городка Лорето поступила завещанная богатым римским патрицием Джираламо Лотторио картина, изображающая уже знакомый нам сюжет — мадонну и Иосифа над постелью проснувшегося Иисуса.

Надо сказать, что Санта Каза (святой дом, хижина) представляла собой одну из особо чтимых святынь католического мира. Согласно легенде, хижина, в которой некогда жила мать Иисуса, Мария, в 1295 году была перенесена сюда ангелами из Назарета. Но ко времени, о котором у нас сейчас идет речь, хижина эта уже представляла собой облицованное снаружи мрамором небольшое палаццо, а внутренность ее — богато отделанный зал с роскошным алтарем и изображением мадонны, украшенным золотом и самоцветами. Старые энциклопедии утверждают, что число паломников в Санта Каза доходило до 200 тысяч человек в год.

После этого станет понятной и надпись, сделанная честолюбивым патрицием на крышке футляра, в котором хранилась картина:

«Живописцев князя
Рафаэля Санцио Урбинского
произведение,
которое Иероним Лотторий Римлянин
святому дому Лоретскому в наследство оставил

на вечное поминовение благочестивого жертвователя
с соизволения папы Климента XI
помещено в Лоретской ризнице
в 1717 году».

Двести тысяч человек ежегодно должны были, по расчетам Лотторио, поминать благочестивого жертвователя!

Но и святая хижина, окруженная ежедневно тысячами паломников, не спасла «Мадонну» от нового приключения. Если еще в 1749 году о «прекрасной Мадонне Рафаэля», виденной в Санта Каза, писал один из путешествовавших по Италии знатоков искусства, француз Кошен, то всего лишь восемь лет спустя другой знаток, Боттари, не заметил там Рафаэля. Еще один искусствовед, описавший Лоретскую ризницу в 1766 году, картину заметил, но отозвался о ней, как о плохой копии, выдаваемой за Рафаэля.

«Мадонну» подменили?! Когда, кто, почему?

Затем выплыли еще более пикантные подробности. Выяснилось, что если даже картина, пожертвованная Дж. Лотторио, и была оригиналом Рафаэля, то за годы пребывания в Лоретской святой хижине она подменялась еще не один раз, причем иногда даже картиной с несхожим сюжетом.

В чем тут дело, сказать сейчас трудно. То ли хитрые монахи запрятали, безопасности ради, драгоценную картину от глаз новоявленного Сфондрато, точившего на нее зубы, то ли нашелся выгодный покупатель, не постоявший за ценой, и слуги Богоматери решились тайно продать ее, а оригинал заменили копией. Так или не так, но «Мадонна дель Пополо», исчезнувшая в 1590-х годах и воскресшая в 1717 году как «Мадонна ди Лорето», снова канула в неизвестность.

Правда, в конце XVIII века она как будто опять

явилась миру, но та ли это была картина, мы не знаем. Может быть, и та самая, извлеченная к тому времени из тайников Санта Каза и снова уложенная в ореховый футляр с дарственной надписью Джироламо Лотторио.

...На этот раз дело обстояло так.

В 1796 году главнокомандующий французской экспедиционной армией в Италии бригадный генерал Наполеон Бонапарт (тогда еще не император и даже еще не консул), разгромив армию противника, заключил с папой Пием VI перемирие в Болонье. В числе суровых условий перемирия, продиктованных Бонапартом, наряду с традиционной в таких случаях контрибуцией (21 миллион ливров) стояло и такое, несколько необычное условие: победители получали право вывезти во Францию по своему выбору 100 произведений искусства и 500 ценных рукописей.

В Лоретскую Санта Каза французские эксперты направились в первую же очередь. Монахи и папа тянули дело, как только могли, спасая сокровища ризницы, но в конце концов вынуждены были вывезти ценности в Рим, где уже готовился к отправке в Париж транспорт с награбленными по всей Италии сокровищами.

О том, что было потом, рассказал свидетель эвакуации ценностей, немецкий художник Реберг. Он записал: «Перед отправкой в Париж «Мадонну» можно было видеть во Французской академии в Риме, где ее с величайшей старательностью упаковали вместе с другими произведениями искусства...»

Но — читайте дальше! — «...При вскрытии в Париже ящика, в котором она находилась, вместо оригинала была найдена неукрепленная и поврежденная копия, причем все поиски, предпринятые с целью

выяснения и отыскания оригинала, оказались безуспешными».

Грозил разразиться большой скандал, чреватый последствиями как для одной, так и для другой стороны. Но именно поэтому, пожалуй, он и не разразился. Сановники Ватикана, знали они истину или нет, в любом случае предпочитали делать вид, что ничего не знают. А французским чиновникам ведавшим эвакуацией картин, тоже было невыгодно поднимать шум, ибо ответственность перед своими властями за пропажу нести пришлось бы в первую очередь им.

Так это и осталось загадкой истории — как и куда исчезла картина, можно считать, в третий раз!

Возможно, что к ее исчезновению был причастен папский генерал Колли. Когда «Мадонну» привезли из Лорето, именно он поместил ее пока, до отправки, в Палаццо Браски — дворец своего друга, любимого племянника папы (ох уж эти папские племянники!) князя Браски. Правда, на некоторое время картину выставили в зале Французской академии, откуда она и должна была попасть в транспортный ящик, но поскольку, как мы знаем, в ящик попала не она, то не вернулась ли она тайно во дворец князя Браски?

С другой стороны, нетрудно предположить, что и среди французских чиновников, ведавших отправкой картин в Париж, тоже могли оказаться ценители искусства, знающие художественную и рыночную цену шедеврам Рафаэля.

В любом из этих случаев возникает один каверзный вопрос. В Лорето, как свидетельствовали очевидцы, «Мадонна» еще в первой половине XVIII века была подменена. Может быть, даже не один раз. Но если там была лишь плохая копия, то почему же при отправке в Париж исчезла именно она, одна из всего собрания итальянских ценностей?

Было тут и еще одно странное привходящее обстоятельство: «Мадонна ди Лорето» не числилась в списке картин, отобранных французами в качестве контрибуции, хотя и должна была отправиться вместе с ними. Почему? Оказывается, ее купили в порядке частной сделки для Наполеоновского музея в Париже, где к тому времени собралось уже около сорока произведений Рафаэля (и, конечно, не его одного). Тем, пожалуй, обиднее была пропажа, концы которой французским властям так и не удалось найти.

Чтобы сгладить конфуз, пришлось выставить в музее то, что обнаружили в ящике, и выдать это за подлинник. Но соседство с подлинными шедеврами Рафаэля было столь невыгодно для плохонькой копии, что через несколько лет ее поспешили сплавить в какой-то монастырь под Парижем.

А в Лувре вместо нее появился... еще один экземпляр той же «Мадонны». Его привез в Париж некий участник итальянского похода французской армии и уступил в 1816 году королю Людовику XVIII, сменившему Наполеона на посту главы государства, за 80 тысяч франков. Король был доволен — неуловимая «Мадонна ди Лорето» попала-таки в Лувр.

Но, увы, и здесь произошла осечка. В 1848 году (когда Людовика XVIII уже не было в живых, а сменивший его на престоле герцог Орлеанский был свергнут июльской революцией) искусствовед Вааген подверг этот экземпляр, 32 года выдаваемый за подлинник, уничтожающей критике и безоговорочно доказал, что это всего лишь чья-то плохая копия.

Опять копия! Пришлось и этой «Мадонне» переселяться сначала в зал копий, а затем и совсем убраться в подвальные запасники музея.

На этом кончаются более или менее достоверные сведения об *оригинале* этой «Мадонны» Рафаэля. Как ни запутанна его судьба, ее все-таки можно как-то проследить. Но зато далее начинается такое, когда вся история запутывается уже до пределов возможного.

К середине XIX века картины Рафаэля стали уже не только предметом любования и восхищения, но и объектом серьезного изучения специалистами. Искусствоведы только что не обнюхивали каждый сантиметр произведения великого мастера и писали трактаты не только о картине в целом, но даже и о какой-нибудь детали ее, а историки искусства раскапывали в архивах мельчайшие подробности истории создания произведения и прослеживали каждый день его судьбы.

Вот тогда-то и выяснилось удивительное обстоятельство, которое и запутало все до крайности. Оказалось, что хотя судьба подлинника «Мадонны дель Пополо — ди Лорето» и продолжала оставаться неизвестной, за эти годы по музеям Европы и частным собраниям блуждало изрядное количество картин, выдаваемых то за оригинал, то за копию этого произведения. Число их все росло. К 20-м годам нашего столетия было подсчитано, что в разное время в разных источниках упоминалось о 46 произведениях на этот сюжет, и чуть ли не любое из них могло оказаться подлинником.

Правда, судьба большинства из них неизвестна, поэтому иные могли проходить в списке претендентов по два, а то и по три раза. К тому же то, что некогда считалось подлинником, могло впоследствии оказаться копией, и наоборот. Таких случаев в истории искусства отмечено достаточно.

Трудности в установлении истины усугублялись еще и тем, что те, кто несомненно видел подлинник, описали его очень уж скупо, а это давало и дает возможность разным истолкованиям. Вот что, например, писал Вазари, кажется, единственный человек, о котором точно можно сказать, что он был лицом к лицу с оригиналом.

«...Изображено рождение Христа, где есть мадонна, накрывающая сына кисеей; последний до того прекрасен, что как по выражению головы, так и по всему облику сразу видно его божественное происхождение. Не менее младенца прекрасна голова и взгляд самой мадонны, в которой наряду с высочайшей красотой просвечивает приветливость и благочестие. Тут есть и Иосиф, который, опираясь обеими руками на посох и задумчиво углубившись в созерцание царя и царицы небес, стоит с удивлением святого старца».

Вот и гадай после этого, что это была за картина — под такое описание подойдут десятки картин на сюжет «Святого семейства» самых разных художников. Из слов Вазари нельзя даже узнать, на чем написана картина, на холсте или на дереве (а среди претендентов на подлинник были и такие и этикие), каковы ее размеры (встречались и маленькие и большие), был ли, например, на фоне пейзаж, и так далее, и тому подобное.

Вот почему почти любая из 46 картин могла оказаться и подлинником. Ведь если об одних из них сохранились более или менее подробные описания, то о других есть лишь краткие упоминания вроде такого: «1847 г. маркиз Спинола продал королю Альберту Саксонскому экземпляр «Мадонны», с давних пор находившийся в его дворце в Генуе и считавшийся им оригиналом Рафаэля». Или еще короче: «В XVIII в. была в галерее герцога Мальборо».

Судьбы некоторых экземпляров интересны и сами по себе. Тут есть все: и неожиданные сенсационные открытия то в княжеском дворце, то в пыльной кладовой домика ветерана наполеоновских войн, то в захолустном монастыре; и случайные приобретения антикваров; и прямо-таки детективные истории с похищениями, подделками, подменами, загадочными исчезновениями в одном месте и не менее таинственными появлениями в другом...

И вот — сорок седьмой экземпляр все той же «Мадонны», носившей в разное время разные имена: то «дель Пополо», то «ди Лорето», то «Санта Каза», то «с Иосифом», то «с покрывалом», то какие-то еще другие.

Что это — еще одна дутая сенсация, еще одна подделка, чья-то второстепенная копия? Или, может быть, наконец-то, сам оригинал или пусть хотя бы авторское повторение?

Дать четкий и точный ответ сейчас, в Тагиле, конечно, невозможно. Уже хотя бы по одному тому, что доску эту называть картиной пока еще просто неловко, в таком ужасном состоянии находится она. Впоследствии Грабарь так охарактеризует ее вид:

«Картина... находилась в состоянии крайнего разрушения. Глядя на ее красочную поверхность, можно было подумать, что либо ее намеренно калечили каким-то железным орудием, либо по ней просто ходили, как по полу, в сапогах, подбитых гвоздями, иначе трудно себе представить, каким образом могли получиться столь невиданные, чудовищные ранения. Всевозможные утраты, обычно встречающиеся в отдельности на старинных памятниках живописи, были собраны здесь воедино, словно только для того, чтобы можно было с исчерпывающей пол-

нотой демонстрировать все их мыслимые разновидности — кракелюры * и выпадывания левкаса **, обнажения дерева, выпадывания красок и обнажение левкасной поверхности, ранения красочной поверхности, кракелюры последней и, наконец, кракелюры и ранения лаковой поверхности...»

Позднее установили также, что сама доска была изъедена шашелом (древесным червем), — ходы его виднелись и на поверхности, а нижние углы доски превратились в пористую губкоподобную массу; что шпонки, скреплявшие половинки доски, отсутствовали, и доска от этого выгнулась горбом; что забитые сзади в доску три гвоздя с большими шляпками расщепили дерево.

Но что бы это ни было — оригинал, копия, подделка — «Мадонну» прежде всего надо спасти.

— Картину придется везти в Москву, — заключил Грабарь.

ОПЕРАЦИЯ «МАДОННА»

В августе 1925 года в Москве у той же доски стал собираться цвет отечественного искусствоведения и реставрации. В Центральной государственной реставрационной мастерской, куда была привезена картина, в те дни перебивали многие — такие знатоки, как П. И. Нерадовский, Н. И. Романов, Н. П. Сычев, Д. А. Шмидт, А. И. Анисимов, мастера реставрации В. Н. Яковлев, Д. Ф. Богословский, Г. О. Чирков. Специально созданная комиссия разрабатывала план восстановления картины.

Это была сложная операция, и ее продумывали до мельчайших деталей. Взвешивались все за и против

* К р а к е л ю р ы — трещины.

** Л е в к а с — грунтовой слой, основа, по которой пишет художник.

того или иного метода, того или иного приема, состава, инструмента. Чинный обмен мнениями нередко сменялся экспансивными спорами. Протокол комиссии пополнялся предложениями, запасными вариантами, замечаниями, предостережениями...

Надо сказать, что готовым планом дело не ограничилось. Как и во всякой операции, скажем, военной или хирургической, все заранее предусмотреть невозможно. В ход событий при ее проведении врывались неожиданности, когда надо было принимать срочные и ответственные решения.

Окончательно разработанным, согласованным и утвержденным после многократного обсуждения планом предусматривались прежде всего меры для предохранения левкасного и живописного слоя от всяких случайностей — грунт местами отпучился вместе с живописью и в любую минуту мог осыпаться.

В это время реставраторы работали над картиной, можно сказать, не дыша, с величайшей осторожностью оберегая каждый квадратный миллиметр живописи.

Затем, когда к картине можно стало прикасаться, не опасаясь, что с нее упадет хотя бы микроскопический кусочек краски, мастера приступили к самой доске. В Тагиле ее половинки были склеены кустарно и неумело, пришлось разъединить их, расчищать не только этот, новый слой клея, но и следы давних склеек, и уж только тогда скрепить заново по всем правилам реставрационного искусства специально сваренным крепким осетровым клеем. Конечно, были заделаны и все механические повреждения дерева — ходы червя-шашела, следы гвоздей и тому подобное.

Это все было, собственно говоря, лишь подготовительной фазой операции: созданием условий для дальнейших действий.

А дальнейшие действия составляли одновремен-

но и реставрацию картины и ее глубинное (в прямом и в переносном смысле слова) изучение. И здесь каждый шаг приносил неожиданности, ибо был шагом в неизвестное.

С картины удалили лаковый слой, впитавший в себя грязь и копоть, побуревший и местами уже разложившийся. И не один — слоев таких, нанесенных в разное время, обнаружилось несколько. И тогда общий исчерна-коричневый тон картины волшебным образом преобразился. «Зелено-бурая мантия мадонны оказалась синей, красно-коричневый хитон — розово-вишневым, желто-красные лица мадонны и младенца — бело-розовыми, черная драпировка — зеленой, желто-коричневая простыня — белой».

Впрочем, волшебной эта метаморфоза показалась бы только непосвященному наблюдателю — опыт реставратора позволял видеть сквозь искажающий слой лака истинные краски. Собственно, Грабарь в приведенных выше словах предсказал то, что он ожидал увидеть и увидел потом.

Но этот толстый лаковый слой, удалить который стоило больших трудов, сослужил и добрую службу: когда его сняли, то исчезли почти все царапины и неглубокие ссадины — лак, как панцирь, принял их на себя и защитил красочную поверхность.

Теперь реставраторы остались, как говорят, один на один с живописью. Что же она представляла собой?

Во-первых, выяснилось, что эта реставрация, увы, не первая. Одна из них, предположительно, производилась еще в начале XVII века, другая — в конце XVIII, а может, и в начале XIX века. (Возьмем на заметку эти даты — они еще встретятся нам потом.)

То, что следов реставраций было так много, невольно наводит на мысль: в прошлом эта «Мадонна» попадала (и не раз) в серьезные переплеты, приклю-

чения с нею бывали и раньше. И приключения явно недоброго характера, связанные с пребыванием в невежественных руках и в неподходящих условиях. Что за приключения, можно только гадать, но, вероятнее всего, они связаны с похищениями, перепрятыванием и т. д.

Больше всего при этом досталось, пожалуй, Иосифу. От первоначальной живописи его фигуры почти ничего не осталось, разве что клочок бороды да прядь волос на голове. Переписаны заново голова, руки, большая часть одежды, фон вокруг головы, даже посох.

Пострадала когда-то и простыня, на которой лежит младенец — она пестрела чинками, как и тело самого младенца. К тому же то немногое, что уцелело, когда-то было испорчено одним из прежних реставраторов — оригинал писался темперой, а реставратор использовал масляную краску, которая въелась в первоначальную живопись, раздражила ее.

Похоже было, что и мантия мадонны, а также драпировка сзади нее тоже погублены — или при каком-то из приключений, или при какой-то реставрации. Но здесь пришло приятное разочарование: под слоем темно-грязной краски обнажилась древняя живопись, «открылся,— писал Грабарь,— прекрасный изначальный цвет драпировки, собранной в складки и завязанной в левом углу в сложный декоративный узел. Подготовленная в светлых, почти белых, с сероватыми притенениями, темперных красках, она была сверху пролессирована прозрачными зелеными цветами холодноватого тона». Мантия оказалась ярко-синего цвета.

И далее под позднейшими записями реставраторам стали попадаться куски живописи подлинного мастера. Когда, например, расчистили левую ногу младенца, то вместо «вялого, слишком округленного

и бесформенного» большого пальца открылся другой — «энергично и остро прорисованный уверенной рукой».

Но одним из наиболее интересных и приятных открытий было то, что в первоначальной живописи обнаружились *пентименти* — авторские поправки и изменения. А это очень важно: ведь если умелый копиист сможет еще подобрать точные цвета платья, драпировки, в точности повторить рисунок в целом и в деталях, то написать, скажем, палец сначала в одном повороте, а потом, тут же, переправить в другом — этого копиист, конечно, сделать не посмел бы.

Так, значит, все-таки Рафаэль?

Но... Оставшись наедине с тем немногим, что оставалось от живописи, нанесенной когда-то впервые на грунт, Грабарь размышлял:

«Что же мы имеем в итоге? — спрашивал он себя. — Из всех... наблюдений, добытых в процессе реставрации картины, следует, что перед нами довольно пестрое сочетание разновременных и разнородных наслоений: изначальной, хорошо сохранившейся живописи, той же изначальной живописи, но уже смытой в большей или меньшей степени, чинок и записей XVII века, чинок и записей XVIII века. Из-за этой технической и качественной чересполосицы ускользает целостное впечатление, ибо трудно, глядя на картину, не видеть режущую глаз бездарную живопись головы и особенно рук Иосифа, дефекты в рисунке рук мадонны или деревянную лепку левого рукава ее. Нужна особая сноровка, чтобы, несмотря на вносимую всем этим какофонию, уметь высмотреть из созданной временем и людьми пестроты то живое и неувядаемое, что сохранилось еще в остатках подлинной живописи».

Но ведь и подлинная — изначальная — живопись могла принадлежать не кисти Рафаэля, а чьей-то другой? Нужно проверить каждую деталь на возможность принадлежности ее именно Рафаэлю, то есть провести анализ и стиля, и техники, и даже состава красок.

Вот, например, подпись, выполненная золотом по вороту платья мадонны. Она изначальна, вернее — лежит непосредственно на изначальной живописи платья, спаяна с ней. Но принадлежит ли она самому Рафаэлю? Ведь ее мог сделать и копиист (хотя это маловероятно — ни на одной из известных копий этой картины подписи нет). Мог сделать и тот, кто подделывал картину, желая выдать ее за оригинал (а такие случаи вполне могли быть).

Пришлось провести кропотливейшее, удивляющее своей дотошностью, исследование эволюции подписи Рафаэля по неопровержимо установленным подлинникам: когда, как подписывал он свои произведения, соответствует ли эта подпись особенностям подписей Рафаэля именно в эти — первые римские годы.

Оказалось, что и стиль начертания букв, и употребление формы *pingebat* (имперфект глагола писал) вместо ранней формы *pinxit* (перфект) соответствует времени и манере мастера. И даже место, где нанесена надпись, можно сказать, излюбленное Рафаэлем, на многих его картинах она идет по оборке платья мадонны. Вот и в картине 1508 года (наиболее близкой по времени), хранящейся в собрании лорда Каупера под именем «Большой Мадонны», она тоже выведена золотом в виде орнамента на вороте платья.

Значит, Рафаэль?

Но есть еще одна, очень похожая на тагильскую, подпись на большой луврской картине «Святое семейство». А она числится как раз среди картин,

которые, как сделали вывод специалисты, «во всяком случае не являются собственным произведением Рафаэля».

Значит, еще рано утверждать, что тагильский экземпляр — Рафаэль. Не исключена и подделка.

Однако против подделки говорит одна, незаметная для неспециалиста, деталь. Дата, указанная в подписи, во многом меняет дело, усложняет его.

Копиист ее вообще поставить не мог, ибо обычно в таких случаях указывали дату копирования.

А подделыватель? Как ни странно с первого взгляда, но он не решился бы поставить именно этот год, так как сразу же навлек бы на картину подозрение в подлинности ее. Дело в том, что все искусствоведы считали, что эта «Мадонна» создана Рафаэлем в... 1512 году. И если поверить в новую дату, то придется пересмотреть многое в биографии художника и в истории его творчества.

Грабарь и взялся за такой пересмотр. А в итоге пришел к выводу, что дата «1509» не только «не противоречит данным жизни и творчества Рафаэля около этого года, но, наоборот, приобретает сугубую убедительность»!

И все же ученый не торопится с выводами. Он решает еще исследовать стиль тагильской «Мадонны» и сравнить его со стилем известных экземпляров ее «сестер» (а изображений их собралось с десятков).

Не вдаваясь в подробности, слишком специальные, чтобы о них можно было рассказать коротко, отметим, что и это исследование убедило Грабаря: тагильский экземпляр не противоречит ни стилю Рафаэля вообще, ни этого периода творчества в частности.

Особенно помогли Грабарю в этом найденные им подготовительные рисунки, эскизы к картине,

свидетельствующие, что тагильский экземпляр ближе других к стилю Рафаэля этих лет.

Он, например, обратил внимание на поворот головы младенца. На тагильской «Мадонне» и на подготовительном эскизе верхняя губа не пересекается с левой щекой, как на других известных экземплярах этой картины.

Отметим, что правая ножка младенца на эскизе и в тагильском экземпляре спокойно лежит на поверхности постели, а на других экземплярах она энергично вдавлена в мягкую перину, между тем эта энергичность совершенно чужда стилю картин рафаэлевского времени.

Больше того, очищенный от позднейших переписей и записей на тагильской доске большой палец левой ноги младенца оказался именно таким, каким он изображен на подготовительном эскизе!

Мелочи... Но какие важные! Собранные вместе и логически расставленные, они подводят к научно обоснованному выводу.

Подводят, но, увы, еще не дают права на окончательный вывод — предположительных вариантов еще не мало.

Как-то утвердилось мнение, будто Грабарь признал, что тагильская «Мадонна» безусловно принадлежит кисти Рафаэля.

Надо прямо сказать, что Игорь Эммануилович Грабарь, как истинный ученый, не мог сделать такой категоричный, далеко идущий вывод.

Он утверждал лишь следующее:

1) что достоверные следы «Мадонны дель Пополо» теряются до того, как появилась лоретская «Мадонна»;

2) что «...из сохранившихся экземпляров... «Мадонны»... самым ранним является, бесспорно, нижнетагильский»;

3) что «...тагильский экземпляр не копия»;

4) что сопоставление тагильского экземпляра с гравюрой, сделанной не по лоретской картине, а по той, что висела в церкви дель Пополо, и с рафаэлевскими эскизами «показывает наиболее тесное родство с ними именно этого экземпляра» и что «существующие копии идут от какого-то иного оригинала»;

5) что «...тагильский экземпляр «Мадонны» не только наиболее ранний из сохранившихся, но, быть может, и тот самый протооригинал, который находился некогда в Санта-Мария дель Пополо».

«Быть может», но не более!

Грабарь считал, что окончательное решение вопроса может быть дано лишь после того, как будут исследованы на самом совершенном уровне теории и практики все существующие экземпляры этой картины, признаваемые за оригинал или за копии.

Вот это вывод истинного ученого, каким и был профессор, а позднее академик Игорь Эммануилович Грабарь.

КТО??

А как попала «Мадонна», оригинал она или копия, в Нижний Тагил? Может быть, ответ на этот вопрос поможет прояснить дело?

Грабарь обратился к истории Демидовых, двухсотлетней династии владельцев тагильских заводов. И хотя он использовал только подручные, общеизвестные материалы, но и они позволили сказать, что, пожалуй, любой из Демидовых мог оказаться приобретателем картины.

Так, один из первых заводовладельцев, Акинфий Никитич (1678—1745), бывал за границей — в Саксонии. Известен был и как заядлый собиратель — во Фрейбурге, например, он приобрел «кабинет ми-

неральных редкостей» и впоследствии весьма приумножил его. Покупал ли он картины, неизвестно, но почему бы ему, скажем, и не купить, если была бы предложена икона вполне христианского содержания?.. Можно добавить, что иконы работы завезенных в Невьянск живописцев были известны всему раскольниковому миру — Акинфий любил и знал толк в них.

Никита Акинфиевич (1724—1789) тоже путешествовал по заграницам три года, из них год по Италии, причем в обществе известного впоследствии художника Федота Шубина. За «покровительство искусствам» он даже числился почетным членом Академии художеств. Этот-то уж вполне мог приобрести «Мадонну» — около него всегда крутилась толпа комиссионеров всех мастей. (Заметим, что время его путешествия (1771—1773) увязывается со смутным временем в судьбе картины.)

Еще с большим основанием можно заподозрить в приобретении «Мадонны» его сына, *Николая Никитича* (1773—1828). За границей он жил, пожалуй, больше, чем в России. Назначенный в 1810-х годах посланником во Флоренцию, он обосновался там до конца жизни, скопив в приобретенном им дворце колоссальную, стоившую миллионы, картинную галерею. (Заметим, что он поселился в Италии всего лишь через полтора десятка лет после года, когда из ящика, приготовленного к отправке в Париж, пропала «Мадонна ди Лорето».)

Интересно, что в описи картин, оставшихся после смерти Николая Никитича, значится 13 картин на сюжет «Святого семейства», причем 7 из них куплены в Италии, а 6 во Франции.

Не менее вероятной кажется кандидатура и сына посланника, *Анатолия Николаевича* (1812—1870), купившего себе титул итальянского князя Сан-До-

нато. Он перевез (на двух судах!) собрание отца в Петербург, где построил для этого специальное здание. Не чуждый славы мецената, Анатолий еще приумножил эту коллекцию да, кроме того, собрал и свою, в Италии и в Париже, где у него имелись дворцы.

А мало ли оснований для подозрений дает его женитьба на Матильде де Монфор, родной племяннице Наполеона (дочери его младшего брата Жерома Бонапарта, бывшего Вестфальского короля)? В конце концов, он мог получить картину в приданое из тайников с личными богатствами Бонапартов, где могли осесть и шедевры сомнительного (по способу приобретения) происхождения...

Нельзя сбрасывать со счетов и его брата, *Павла Николаевича* (1798—1840), которого Грабарь как-то обошел, лишь бегло упомянув о нем. Хотя при разделе наследства художественное собрание осталось за Анатолием, Павел тоже умел ценить шедевры искусства. Женившись на известной петербургской красавице Авроре Карловне Шернваль, он преподнес ей в качестве свадебного подарка поистине королевский сюрприз — один из знаменитейших бриллиантов мира, известный под именем *Санси*. Его приобрели у герцогини Беррийской за полмиллиона франков.

Кстати, об этом бриллианте. В его истории есть интересные для нас моменты. Известный знаток алмазов профессор И. И. Шафрановский рассказывает: «В XV веке эта драгоценность, величиной с голубиное яйцо, украшала шлем герцога Карла Смелого. Твердо веря в чудодейственную силу волшебного камня, герцог считал себя застрахованным от смерти на войне. Однако суеверие не помогло. Карл был убит, а алмаз из его шлема вынул вражеский солдат, продавший его за один гульден.

Впоследствии замечательный камень оказался собственностью знатного французского рода Санси, в честь которого и получил свое название. Один из Санси, решив поднести алмаз королю, поручил своему слуге доставить драгоценный подарок к королевскому двору. По дороге в горах слугу убили разбойники, а камень исчез. Санси был так уверен в непогрешимости своего слуги, что приказал искать алмаз в его могиле. И действительно, камень обнаружили: верный слуга проглотил его. В дальнейшем алмаз украсил корону злосчастного Людовика XVI. Во время французской революции он то исчезал, то появлялся вновь. С 1830 года «Санси» находился в руках герцогини Беррийской...»

В этих скитаниях судьба алмаза могла где-то скреститься с судьбой «Мадонны»; они могли сойтись в одних руках — и у Людовика XVI и у герцогини Беррийской. Особенно у герцогини. Эта сильная, смелая, авантюристического склада женщина, дочь короля обеих Сицилий Франциска I и жена герцога Шарля-Фердинанда Беррийского, после смерти мужа решила в смутные для Франции 1830-е годы возвести на престол своего сына как последнего представителя рода Бурбонов. Она организовывала заговоры, восстания, даже сама принимала непосредственное участие в военных действиях, переодевая крестьянкой, но в 1832 году была поймана и заключена в тюрьму. Однако вскоре ее выпустили, и последующие годы она жила то в Сицилии, то в Венеции, то в Швейцарии. В эти-то годы Павел Демидов и купил у нее бриллиант.

А не купил ли он тогда у этой представительницы итальянских и французских герцогских домов и «Мадонну»? Что сделка скрывалась, это можно понять: потеряв права на принадлежность к правящей династии, герцогиня теряла право и на владе-

ние имуществом, числящимся официально за государственной казной. А картина, в отличие от алмаза (личной драгоценности), как раз и могла быть именно таким имуществом. Сделка, стань она достоянием гласности, могла иметь далеко идущие последствия как для герцогини, так и для Демидова. Демидову же, в свою очередь, было, вероятно, лестно поднести молодой жене такой дорогой и таинственный подарок.

Следующий Демидов, сын Павла и Авроры Павел Павлович (1839—1885), как и его дядя, тоже служил дипломатом и тоже приобрел в Италии великолепное имение герцогов Медичи — Пратолино, где подолгу жил и собрал много картин. Говорят, что этот довольно безалаберной жизни человек страдал «припадками тоски, угнетавшей его частыми приступами среди невероятной окружающей роскоши», когда он мог с легкой душой сотворить «невинную, но бешено стоящую глупость».

Разве не могла попасть ему в руки «Мадонна», которую он в *припадке тоски* взял да и отправил «в ссылку» — на Урал?

Следующие Демидовы нас уже не интересуют, ибо где-то с середины 1860-х годов (а может, и несколько раньше) картина, как полагают, была в Тагиле.

Но как же так получилось, что высокоценная картина оказалась забытой, брошенной и, по сути дела, погубленной?

Грабарь полагает, что, поскольку «...в описи художественных произведений, сосредоточенных за 150 лет при Нижнетагильском заводе, ее не значится... следует только одно: картина эта, видимо, не только не считалась Демидовыми исключительной художественной ценностью, но, напротив того, ей

не придавалось никакого значения, и в течение по крайней мере полувека она находилась среди всякого заводского хлама, в полузаброшенной кладовой».

Однако с этим можно поспорить. Да и сам Грабарь на следующей же странице допускает иное толкование — что о картине могли просто забыть: «забывали же в те времена русские помещики, жившие в Париже и в Италии, не только о замечательных собраниях, хранившихся в их поместьях, но и о самих этих поместьях, интересуясь только доходами с них».

А здесь эта забывчивость, пожалуй, не случайна. Важно отметить, что картина, по утверждению старожилов, никогда не висела на виду ни в одном из покоев Демидовых, во всяком случае ни в одном из тех, что были доступны обозрению посторонних лиц. Создается впечатление, что с картиной дело нечисто. Один из стариков, потомственный тагильчанин, еще в 1930-х годах прямо заявил мне: «А что тут гадать... икона-то краденая!» Что он знал еще, я не сумел у него выпытать — старик ссылался на глухоту, но что-то, по-моему, он знал.

Крали ее, конечно, не сами Демидовы. Они могли купить (или получить в подарок), зная заведомо, что она «краденая» — похищенная или тайно изъятая из какого-то известного собрания. Но какого?

На картине есть две приметы, которые позволяют строить догадки в этом направлении.

Во-первых, на оборотной стороне доски, к моменту находки ее в Тагиле, сохранились приклеившиеся обрывки французских газет конца XVIII и начала XIX века. Значит, возможно, что картина приобретена во Франции (впрочем, она могла быть вывезена из любой другой страны, а во Франции переупакована).

Во-вторых, в левом нижнем углу картины, в тон общей живописи простыни, изображен герб герцогов Орлеанских. Эта *приписка* относится, вероятнее всего, к XVII веку. Заметим, что один из герцогов Орлеанских был близким родственником герцога Беррийского, а значит, и той герцогини, о которой говорилось выше.

Но все это не больше, чем случайные предположения — приметы не дают оснований для выводов о последнем нетагильском адресе картины. И загадка остается по-прежнему неразгаданной, хотя возможных путей к ее решению много.

Может, например, приоткрыть завесу тайны глубинное изучение архивов герцогов Орлеанских и герцогини Беррийской. Но у кого и когда дойдут до этого руки?..

Разгадка может прийти и не из такого далека. В необъятных демидовских архивах, рассеянных по разным городам страны, хранящихся и в Центральном государственном архиве древних актов (10 тысяч дел), и в Государственном историческом музее в Москве, и в Ленинградском областном историческом архиве, покоится множество мало кем исследованных документов, могущих пролить свет на эту историю, и в первую очередь — частная переписка Демидовых.

Впрочем, возможны находки и еще ближе, можно сказать, совсем под боком — в Нижнем Тагиле. Личная переписка Демидовых, в основном на французском языке, хранящаяся в Тагильском филиале облархива, никем не изучена. А уже известно, что там есть письма и Жерома Бонапарта, и Наполеона III, и других французских аристократов, которые могут быть причастны к истории тагильской «Мадонны».

ОХОТА ЗА КРАСОТОЙ

Прекрасное всегда влекло к себе человека. Искусно выцарапанному на стене пещеры изображению сцены удачной охоты поклонялись древние люди, наши очень далекие предки. Культ красоты царил в Элладе и древнем Риме, оставив нам непревзойденные образцы взлетов человеческого гения. И в мрачные годы средневековья, несмотря на насаждаемый церковью аскетизм, не угасла эта врожденная особенность человеческой души. Расцвет эпохи Возрождения дал нам целую плеяду титанов искусства, их создания волновали и их современников, волнуют и людей нашего времени, и долго еще будут волновать, воспитывая в нас чувство прекрасного, так облагораживающее человека.

Но к этому прекрасному издавна тянулись не только взволнованные глаза почитателей его, но и жадные руки корыстолюбцев. Давно было понято, что произведения искусства не только духовная, но и материальная ценность: раз это совершенно необходимо человеку, значит, это можно покупать и продавать. Картины и скульптуры стали объектом купли-продажи, похищений, подделок, вымогательства.

С годами это стало обычным делом. И чем замечательнее художник и его творение, тем азартнее шла (и идет поныне) охота за ним. Хроника мировых сенсаций хранит на своих страницах скандальные истории похищения шедевров таких, например, как «Джоконда» Леонардо да Винчи, портрет герцога Веллингтона Франсиско Гойи и сотен им подобных — и крупных и мелких. Похищения осуществлялись и в одиночку, и хорошо организованными бандами.

В Италии это приняло размеры национального бедствия. Как сообщали газеты, за период с 1957 го-

да по 1972 год «из государственных коллекций музеев и церквей Италии было украдено более 22 тысяч произведений искусства. Только в 1971 году было похищено 4927 картин и скульптур». За истекшие годы цифры эти значительно возросли. По данным римской печати, большая часть украденных произведений искусства через некоторое время всплывает где-нибудь в США, Англии, Швейцарии.

Не избежал этой судьбы и Рафаэль. В январе 1971 года газеты облетело такое сообщение:

«Небольшой портрет молодой итальянской знатной дамы, принадлежащий кисти Рафаэля, был главным украшением выставки, проводившейся в честь столетней годовщины Бостонского музея изящных искусств. Однако вскоре этот портрет перекочевал из выставочного зала в сейф, опечатанный правительственной печатью. Как сообщают нью-йоркские газеты, выяснилось, что эта картина, оцениваемая в 1,5 миллиона долларов, попала в музей контрабандным путем. В 1969 году она была незаконно вывезена из Италии ловкими дельцами, специализирующимися на торговле предметами искусства. Узнав, что портрет находится в Бостоне, итальянское правительство потребовало провести расследование, которым и занялся местный прокурор. Директор музея Перри Рэтбоун отказался сообщить, каким путем картина Рафаэля попала в его музей».

И не случайно, конечно, отказался. Спустя четыре месяца следствие установило, что директор сам замешан в незаконной покупке и контрабандном вывозе одного из национальных сокровищ Италии.

Заметим, что речь идет о портрете юной синьорины Марио делла Ровере, заказанном Рафаэлю папой Юлием II в те же примерно годы, когда создавалась «Мадонна».

Перепродажа явная и тайная, похищения и под-

мены настолько запутали историю художественного наследства Рафаэля, что искусствоведы сейчас даже затрудняются определить точно — что же несомненно подлинного осталось из картин этого мастера.

Картины его терялись на много лет, то оседаая в галереях частных замков, то пылясь в чулане дельца-антиквара, рассчитывавшего со временем подороже продать ее, то и в самом деле забытые где-то в кладовой в силу каких-то необычных обстоятельств. Терялись и... находились снова. То в коллекции умершего магната, никого не допускавшего до ее обозрения, то в скромном домике далеких потомков наполеоновского воина...

Вот как рассказывалось в газетах об одном случае:

«В 1876 году в небольшом городке на севере Италии крестьянин, у которого ветром выбило стекла в окне, полез на чердак и там среди разного хлама обнаружил какую-то картину в раме. Ею-то он и прикрыл разбитое окно. Картину, поставленную изображением на улицу, увидел проезжавший мимо музыкант из Генуи и купил ее за 70 лир, а у него потом ее перекупил некий любитель живописи уже за 2500 лир. Реставрируя картину, новый владелец неожиданно установил, что она написана гениальным Рафаэлем по специальному заказу старинного итальянского рода Ровере (и здесь Ровере! — Ю. К.). Позднее это подтвердили и документы, найденные в семейном архиве Ровере».

Бывало и такое, когда общепризнанный подлинник впоследствии оказывался в роли копии, и наоборот. Так, в конце прошлого века на римском рынке небольшая картина, изображающая св. Иеронима в пещере, была куплена всего лишь за два доллара как произведение неизвестного автора. Семьдесят лет спустя она стала оцениваться в два миллиона

долларов — специалисты после расчистки и реставрации картины установили, что это творение Рафаэля.

А уж историй о «подлинниках», оказавшихся копиями, и приводить не стоит — с ними мы встречаемся чаще всего.

Но вот история, которая стоит уже в прямой связи с судьбой нашей «Мадонны». В июле 1970 года римский корреспондент «Известий» Л. Замойский дал в «Неделе» такую информацию:

«На закате лет папа Юлий II предложил Рафаэлю Санцио из Урбино запечатлеть свой облик. Неугомонного старца Рафаэль изобразил величавым и задумчивым, восседающим на позолоченном троне. В 1513 году Юлий II умер, а портрет его выставили в церкви Санта-Мария дель Пополо в Риме. Судьба портрета оказалась не менее своенравной, чем характер «папы-воителя». Лет через восемьдесят кардинал Сфондрато забрал портрет из церкви, презрев ропот верующих, а затем попытался самым обычным образом продать картину, но... не нашел покупателя. В 1608 году он присвоил-таки этот портрет, равно как и еще семьдесят шедевров мастеров Высокого Возрождения. Они были подарены кардиналу Сципиону Боргезе, который в обмен предоставил Сфондрато епископский пост в Кремоне. Потомки Боргезе продали ставший знаменитым портрет в конце XVIII века, незадолго до наполеоновского нашествия в Италию. Солдаты Бонапарта широко смотрели на вещи, в том числе и на те, которые им не принадлежали, не отставая от своих генералов. При Наполеоне Лувр, несомненно, пополнился. Но когда французов вновь сменили более щепетильные австрийцы, в флорентийской галерее Уффици появился портрет Юлия II, который считали оригиналом. Одна из копий из соседней Франции перекочевала в «Нэшнл гэллори» с 1924 года. Надпись гла-

сила: «Копия с оригинала Рафаэля Санцио из Урбино». Она висела около 150 лет и провисела бы без приключений наверняка еще столько же, если бы не любознательность сэра Сесилия Гоулда, эксперта живописи, взглянувшего на портрет глазом рентгена. И — о удивление! — под слоем краски Гоулд обнаруживает покрашенную папскую тиару и прочие символы власти, которые Рафаэль, по зрелом размышлении, решил не выставлять напоказ. Такие поправки мог внести только автор».

Как не вспомнить при этом, что «Мадонна» Рафаэля висела в церкви дель Пополо вместе с портретом Юлия II, вместе с ним попала в руки кардинала Сфондрато и вместе же исчезла из поля зрения. Теперь стала известна дальнейшая судьба портрета папы. Но ведь это ниточка и к судьбе «Мадонны»! И может быть, она-то и приведет к разгадке давней тайны?

Бывает, увы, и так, что дальнейшие события не проясняют загадку, а еще больше запутывают ее. Уже после того, как этот очерк был напечатан в одном из журналов, газеты облетела новая сенсация.

«МАДОННА» УПЛЫВАЕТ ЗА ОКЕАН

«Американский миллиардер Поль Гетти, живший долгие годы в Англии, решил наконец перебраться в Соединенные Штаты, прихватив с собой свою собственность — картину великого Рафаэля «Мадонна ди Лорето». Оцениваемый в два миллиона фунтов стерлингов шедевр в течение семи последних лет хранился в Лондонской Национальной галерее, куда предприимчивый мультимиллионер согласился поместить ее, разумеется, не бесплатно.

Примечательна история «Мадонны». В 1938 году, когда Гетти приобрел картину, она обошлась

ему всего в... 40 фунтов, как принадлежащая кисти неизвестного мастера. Позже специалисты установили ее истинного автора и определили ее настоящую ценность. Вот тогда-то миллиардер и решил срочно вывезти картину за океан».

А вот и еще одно недавнее известие. Несколько лет назад в музее маленького французского городка Шантильи (в 20 километрах от Парижа) искусствоведы, исследовавшие издавна висевшую там «Лоретскую мадонну», заявили, что она не копия, как считалось всегда, а оригинал, вернее, авторское повторение, заказанное Рафаэлю папой Юлием II с той картины, что писалась для церкви Санта Мария дель Пополо.

Напомним, что Шантильи — это, кажется, тот самый «какой-то монастырь под Парижем», в который была передана «плохая копия» картины Рафаэля, оказавшаяся вместо оригинала в ящике, присланном из Рима в качестве контрибуции.

Итак — новые претенденты на роль оригинала? Или они из числа предыдущих сорока семи, но выплывшие на свет божий в новом обличье? Кто знает...

С годами число загадок не убывает, а растет. Время словно не хочет расставаться с полюбившейся ему тайной. Но не напрасно говорят, что нет ничего тайного, что в конце концов не стало бы явным. А пока...

А пока тагильская «Мадонна» обосновалась в городе, давшем ей это имя — в Нижнетагильском музее изобразительных искусств, где ей отведено самое почетное место. И это очень справедливо — картина, купленная некогда на деньги, выжатые из пота и крови тагильских рабочих людей, стала достоянием их свободных потомков.



УРАЛЬСКИЙ ВОЯЖ ПОЭТА

Весной 1837 года, как только подсохли знаменитые своей грязью российские дороги, в Царском Селе собрался в далекий путь многоэкипажный конный поезд: девятнадцатилетний наследник престола, великий князь Александр Николаевич, только что закончивший основной курс обучения всем необходимым будущему царю наукам, по приказу отца, императора Николая I, отправлялся с обширной свитой в большое путешествие по России.

Маршрут поездки был намечен еще зимой — настолько пространный, что пришлось печатать его в военной типографии брошюрой в 29 страниц: для памяти путешествующим и для руководства местным властям. Наследнику предстояло проехать около 12 тысяч верст и обозреть империю до Урала и Западной Сибири на востоке, до Смоленска на западе и Елисаветграда на юге.

Николай собственноручно составил обстоятельную инструкцию наследнику: где бывать (а где нет), что и как смотреть, когда ложиться спать и когда вставать, когда и с кем обедать и ужинать, какие балы и приемы посещать, и даже с кем из дам и что именно танцевать («...с некоторыми из почетных дам — польский, с молодыми же знакомыми и лучше воспитанными — французские кадрили две или три»).

Сформулирована была здесь и главная задача

вояжа: «Путешествие имеет двойную цель: узнать Россию, сколько сие возможно, и дать себя видеть будущим подданным».

За несколько часов до отъезда, 2 мая, император собрал в своем кабинете многочисленную походную свиту цесаревича (наставники, адъютанты, высокородные товарищи-офицеры, лейб-врач, камердинеры, фельдъегери) и долго читал им наставления. Всем было велено «вести свой особый журнал», то есть путевой дневник.

Распорядок дня был предложен жесткий, не оставляющий времени для излишнего любопытства и непредусмотренных встреч: «Встав в 4 утра, ехать в 6 ч., не останавливаясь для обеда или завтрака на дороге, до ночлега. Буде на пути есть предметы любопытные, то останавливаться для осмотра, не принимая нигде ни обедов, ни завтраков. По приезде на место посетить в губернских городах собор или даже в уездах те места, где хранятся предметы особого богомолья. Засим по приезде на квартиру обедать, призвав к столу только губернаторов, вечер посвятить записыванию в журнал всего виденного в течение дня и ложиться пораньше спать».

В воскресные и праздничные дни, правда, программа дня предоставляла большую свободу действий.

При этой беседе Николай уточнил и свое понимание «узнания России». Как записал в дневнике один из спутников наследника, его флигель-адъютант полковник С. А. Юрьевич, царь повелел, «...чтобы видели вещи так, как они есть, а не поэтически. Поездя в сторону, я не люблю ее там, где нужна существенность»¹.

Конечно, существенность можно понимать и как деловитость, но мы-то знаем, что Николай вообще был бы не прочь всю поэзию отправить в сторону,

как, скажем, отправлял Лермонтова в ссылку, Полежаева в солдаты, Рылеева на виселицу. И здесь это противопоставление дела и поэзии, похоже, адресовалось кому-то из поэтов.

Но поэтов на этой беседе не присутствовало. Тот, что был назначен участником путешествия, на нее опоздал, нечаянно или умышленно — кто знает...

К отъезду, однако, он успел. В назначенную ему коляску, вместе с молодым подпоручиком Иосифом Виельгорским, сел наставник цесаревича поэт Василий Андреевич Жуковский.

В шесть часов пополудни длинный, сразу же растянувшийся почти на полверсты поезд (11 экипажей при 37 лошадях) тронулся в дальний путь, поднимая клубы первой весенней пыли.

Откинувшись поудобнее на спинку сиденья, поэт глядел из-под полуприкрытых век на проплывающие мимо коричневые поля, на серо-зеленые от первой листвы перелески, на избы притрактовых деревень с побуревшей за зиму соломой на крышах, на выряженных в праздничные рубахи мужиков у околицы.

Едва ли с легким сердцем отправлялся в вояж Василий Андреевич, хотя давно знал о нем, сам принимал участие в разработке программы и маршрута — всю зиму сидел вместе с ученым географом, экономистом и статистиком Константином Ивановичем Арсеньевым. Лишь три месяца назад он похоронил Пушкина — не только близкого друга и победителя ученика, но и великого русского писателя, значение которого хорошо понимал. Все эти месяцы были заняты разбором и описанием (под присмотром жандармов) его бумаг, хлопотами об опеке и устройстве материальных дел семьи поэта, наконец, подготовкой к изданию его сочинений. В мастерской

Брюллова остался неоконченным портрет Василия Андреевича, предназначенный для выкупа на волю поэта-художника Тараса Шевченко: «Карл великолепный» не успел завершить работу, отложили до возвращения...

Некстати было отрываться от этих забот. Но и отказаться нельзя, отношения с царем, особенно после хлопот о Пушкине, стали натянутыми, вот ведь сказал же умышленно: «поездию в сторону». Да и с наследником они уже не те, что раньше, когда великий князь был мальчишкой и внимал словам о справедливости, о долге и высоком назначении человека...

Уже более десяти лет состоит Жуковский его наставником, преподавая русский язык и эту самую «поездию». Приветствуя в 1818 году рождение наследника, он писал в стихе для Александры Федоровны, матери, выражая надежду, что сын

...и на чреде высокой не забудет
Святейшего из званий: человек!..

Пожалуй, подросший сынок уже стал забывать: фронт, парады влекут его больше... Ну что ж, он, учитель, как мог, старался привить великому князю качества, которые сам считал святейшими. Другое дело, что он, воспитатель, не один, а главный среди них — сам император Николай Павлович.

Может, начавшееся путешествие по стране, которой ему потом придется править, вселит в наследника ответственность перед своей высокой миссией? Конечно, вояж этот «можно сравнить с чтением книги, в которой теперь великий князь прочтет одно только оглавление, дабы получить общее понятие о ее содержании»², но хоть будет знать, что еще ему предстоит прочесть...

Василий Андреевич грустно вздыхает... Не надо

бы, пожалуй, ему ехать. Но — служба. Вот и трясись теперь тысячи верст по воспетым всеми поэтами треклятым расейским дорогам. А дела, поэзию пока в сторону.

Что-то там в пути увидится, кто встретится? На Урале, кажется, никого из близких знакомых нет. А вот за Рифеем, в Сибири, те, о ком одиннадцать лет болит душа, — друзья, попавшие в беду, и их товарищи по Сенатской площади. Он не сочувствовал их радикальным взглядам, не одобрял «бунта» 14 декабря, назвал даже их однажды под горячую руку (в письме Александру Тургеневу) разбойниками. Но ведь товарищи, его и Пушкина. «И разве я могу, не утратив собственного к себе уважения... жертвовать связями целой моей жизни» — вспоминались строки из записанного еще в январе 1830 года конспекта так и не отправленного письма царю: донос. опередил вручение, нависла гроза, но все ограничилось унижительной «головомойкой, в которой мне нельзя было поместить почти ни одного слова».

А может, пришло время повторить мысли, которые он тогда хотел высказать императору? «Время строгости миновало... время милости наступило... правосудие удовлетворено... милосердие ждет своей очереди». Ведь это так просто, милосердно и даже полезно для блага государства: поселить в Сибири, этой «безлюдной пустыне», прощенных декабристов и дать возможность талантливым, деятельным людям превратить ее в цветущий край! «Пока они еще в силах жизни, пока еще могут быть людьми для блага будущих времен...»

Василий Андреевич укутывает колени пледом и смежает веки, углубясь в свои думы. Кастаньетами цокают копыта лошадей, мелькают версты полосаты...

О чем думал Жуковский, начиная это путешествие, а потом продолжая его, можно только предполагать. А вот что увидел за это время, с кем встречался, что делал, узнать оказалось возможным: Василий Андреевич вел в дороге дневник. И не потому, пожалуй, что к этому обязывало распоряжение Николая, а в силу давней привычки вести путевые записи.

Дневник сохранился: в 1884 году его, среди других рукописей поэта сдал в Императорскую публичную библиотеку сын — Павел Васильевич. Там же, в отделе рукописей Публичной библиотеки имени М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде, дневник хранится и по сей час³.

Его можно подержать в руках, вчитаться в полустершиеся (еще, вероятно, в дороге) карандашные строки. Всего здесь шесть записных книжек. Первые две заполнены на Урале.

Начальные записи сделаны на девяти листочках дорожного бумажника-несессера, под красным сафьяном которого удобно уместились необходимые путнику предметы — карандаш, пинцет, ножичек, пилочка для ногтей. В середине — два тонких костяных листочка для временных записей, которые потом можно легко стереть.

Вторая записная книжка потолще — в ней более 80 листов, из которых, правда, заполнено только 35. Сразу видно, что записи делались не за письменным столом, а то в карете, то где-то на ходу, то в начале, то в конце тетради, а то и где-то в середине вверх ногами. Тут и кроки пути, какие-то схемы, и планы квартир, где приходилось останавливаться. Между ними черновые наброски писем, в том числе основные мысли письма, которое Василий Андреевич будет писать всю дорогу до Златоуста, и лишь оттуда, просидев за ним целую ночь, отправит им-

ператору — решительное и настойчивое ходатайство о смягчении участи декабристов. Наброски заняли двенадцать страниц, почти треть всех записей в этой тетради.

Записи... Порой прыгающие вкривь и вкось (на дорожных ухабах!) строчки, недописанные слова, порой какие-то иероглифы, понятные только самому писавшему их. Чтобы прочитать иную страничку, надо помучиться с лупой не один час. Расшифровка всего дневника — адский труд, на который далеко не всякий решится.

И все же такой человек нашелся. Скромный работник Публичной библиотеки Иван Афанасьевич Бычков несколько лет просидел над записными книжками Жуковского и в 1887 году опубликовал в «Отчетах» библиотеки отрывки из дневника, в 1902 году поместил его полностью в журнале «Русская старина» (в 1903 году напечатан отдельным изданием).

Первое знакомство с расшифрованным и напечатанным дневником может разочаровать. Это даже не конспект, а какие-то *пунктирные* заметки, доступные пониманию лишь самого автора. Недаром впоследствии близкий друг Жуковского П. А. Вяземский, ознакомившись с дневником, отметил, что он «...не систематический, не подробный. Часто заметки его — просто *колья*, которые путешественник втыкает в землю, чтобы обозначить пройденный путь, если придется ему на него возвратиться, или заголовки, которые записывает он для памяти, чтобы после на досуге развить и пополнить».

Колья, заголовки... Все это близко к истине, но Василий Андреевич более не возвращался на пройденный путь и никак не использовал записанное в своих произведениях. Однако памятные вехи для чего-то были ему нужны...

Впрочем, пунктирность своих дневниковых записей Василий Андреевич объяснил сам в письме императрице Александре Федоровне⁴: «Мы летим, и я едва успеваю ловить те предметы, которые мелькают, как тени, мимо глаз моих; едва успеваю записывать их кое-как в свой журнал, чтобы после как-нибудь привести их в порядок... Кажется, мне, как записному автору, должно бы писать на лету — выходит совсем напротив. Именно тогда-то ничего и не могу написать, когда писать непременно надобно»⁵.

Не исключена, конечно, возможность, что это и конспект,— на тот случай, если император все же захочет проверить исполнение своего повеления. Тогда, пользуясь пунктирными заметками, можно составить и «журнал» с описанием всех подробностей путешествия. По еще свежим впечатлениям сделать это будет нетрудно.

За это же говорит и одна из первых записей на страницах дневника, от 15 мая, сделанная еще перед Вяткой — как бы задание себе на время вояжа: «1. Письма к императрице и журнал. 2. Собирать ведомости (то есть сведения о губерниях, представляемые местными властями.— Ю. К.). 3. Собирать все характеристичное. 4. Рисунки. 5. Просьбы читать: А(рсеньеву), М(не), Ю(рьевичу)».

Но как ни малословен и конспективен дневник, многое в нем поддается расшифровке, если знать обстановку тех лет на Урале и привлечь дополнительные, малоизвестные, а то и совсем неизвестные, материалы.

Например, такие, как письма с пути полковника С. А. Юрьевича к жене в Саратов. Они были опубликованы П. Бартеневым в журнале «Русский

архив» (1887, кн. 1 и 2). Преданный царедворец, человек отнюдь не либеральных взглядов, что и отразилось явственно в его письмах, Юрьевич, однако, дал в своих пространных посланиях довольно подробную картину времяпрепровождения путешествовавших, порой с присовокуплением интересных деталей. Письма помогают дополнить, раскрыть многие записи Жуковского.

Или дневники остальных участников поездки. Уж коль царь распорядился каждому писать свой журнал, то, надо думать, едва ли кто решился ослушаться.

Но где они? Среди опубликованной литературы их нет. Не удалось найти дневников и в фондах К. И. Арсеньева, А. А. Кавелина, графа Адлерберга, хранящихся в центральных архивах. Где-то они, возможно, и таятся в океане дел нашего государственного архивного фонда, но пока не известны нам.

Нашелся, правда, фонд того же С. А. Юрьевича, а в нем, кроме уже опубликованных писем к жене, и дневник, который, однако, дал мало нового.

Впрочем, был еще один участник поездки, о котором не следует забывать,— сам наследник. Он тоже по инструкции отца должен был вести дневник. Дошел ли он до наших дней?

Фонды всех русских царей XIX века хранятся в Центральном государственном архиве Октябрьской революции (ЦГАОР). Есть там и фонд Александра II:

Страница, другая описи... И вот искомое:

«Дневник

великого князя Александра Николаевича
во время его поездки по России»⁶.

Увы, дневник оказался совсем неинтересным. Когда встал, когда выехал, кого принимал, где молился... Ни единой интересной подробности, ни

яркой детали, ни намека на эмоцию. Протокольная сушь.

Внизу каждой страницы столбики цифр — расстояние между пройденными пунктами, итог пути за день, количество верст от Петербурга... Разве что собственноручная инструкция Николая I, изложенная на первых страницах, дает колоритный штришок к картине путешествия, объясняющий некоторые ее особенности.

Зато на помощь пришли воспоминания и статьи в местной печати — в Перми, Екатеринбурге, Тобольске. Среди льстивых славословий встречались и важные детали. Они-то и дали возможность обстоятельнее прочесть пунктирные записи Жуковского. Пусть не все, но кое-что.

На пути к Уралу была Вятка. Город губернский, но захолустный, мещанистый, несколько десятилетий спустя давший советнику губернского правления Салтыкову обильный материал для его знаменитых «Губернских очерков». Город, считавшийся настолько далеким и сонным, что в него находили безопасным ссылать вольнодумцев — там для вольных мыслей «не климат».

В ту весну здесь уже третий год томился в ссылке молодой Герцен. «В Вятку я прибыл по разлитию, и мрачное чувство овладело мною, — писал он 10 апреля 1837 года своей невесте Наташе Захарьиной, — я думал: вот вход в чужой город, который запрется для меня. Это испытывает зверь, попавший в тенета»⁷.

Положение его в городе вскоре же обострилось из-за неладов с губернатором-самодуром Тюфяевым. Наступало отчаяние, о котором он и два десятилетия спустя вспоминал в «Былом и думах» с содроганием.

Жуковский не знал Герцена — это было уже другое поколение, «племя младое, незнакомое». Герцен знал Жуковского по его стихам и, может, по рассказам старших друзей.

Важное для молодого изгнанника личное знакомство состоялось в Вятке.

Знакомству помогла выставка местных изделий (каковые предписывалось устраивать во всех губернских городах, через которые проходил маршрут путешествия) и... бездарность губернатора. Вот что писал потом Искандер в «Былом и думах»: «В восьмом часу вечера наследник со свитой явился на выставку. Тюфяев повел его, сбивчиво объясняя, путаясь и толкуя о каком-то царе Тохтамыше. Жуковский и Арсеньев, видя, что дело не идет на лад, обратились ко мне с просьбой показать им выставку. Я повел их... Когда он (наследник.— Ю. К.) уехал, Жуковский и Арсеньев стали меня расспрашивать, как я попал в Вятку: их удивил язык порядочного человека в вятском губернском чиновнике. Они тотчас предложили мне сказать наследнику о моем положении, и, действительно, они сделали все, что могли. Наследник представил государю о разрешении мне ехать в Петербург».

А Наташе Герцен в тот же вечер взволнованно сообщил: «Поздравь меня... вся свита... наговорила мне тьму комплиментов, особенно знаменитый Жуковский, с которым я целый час говорил. Завтра в 7 часов утра я еду к нему». Спустя три месяца, когда Александр Иванович уже со дня на день ожидал желанного отъезда во Владимир (Петербург остался лишь в мечтах), он, понимая, кому обязан этим прежде всего, писал Наташе: «Ну скажи, можно ли было надеяться, что в этой Вятке я найду себе защитника, и где же... и кому обязан я этим — великому человеку, Жуковскому».

...Едва ли думал Василий Андреевич, отправляясь в длительный вояж, что всякого рода заступничества, вызволения знакомых и незнакомых из бед и несчастий, доброжелательное участие в чьих-то судьбах займут в эти месяцы столько места в его жизни. Но таков уж он был — не мог иначе. Всегда. Всю жизнь. И никогда это не выглядело неким покровительственным и показным *благодеем*, а было непосредственной реакцией, откликом души на несправедливость, насилие, на унижение человека. То возвышенное и благородное, что восхищало в его стихах, жило и в сердце, и в делах его.

Можно подумать, что это ему ничего не стоило. Стоило, да еще сколько! Ведь помощь его была не такой уж неразборчивой. Сам император заявил ему: «Тебя называют... защитником всех тех, кто худ с правительством», и даже намекнул, что в доносах его представляют «главою партии» таких, кто худ.

Такое обвинение, да еще из уст самого монарха, могло быть чревато большими последствиями.

Вятская губерния граничила с Пермской, значит — с Уралом. Да и связи этих двух краев, экономические и культурные, были давними. На территории вятской земли действовали заводы, подчинявшиеся Уральскому горному правлению. Так что с Уралом Жуковский начал знакомиться еще на подходе к нему.

И кто бы из друзей и читателей Жуковского мог подумать, что этот поэт-романтик, автор фантастически-таинственных баллад и идиллических элегий, «населенных» средневековыми замками и привидениями, буколическими рощами в лунном свете, что он — певец Светланы и Ундины — так неожиданно для всех (а может, и для самого себя?) столь заинтересованно и увлеченно будет осматривать дымные

и жаркие заводские цеха и вникать в тонкости грязного фабричного производства. И не только «колья» его дневника будут свидетельствовать об этом интересе, но и другие источники.

Сам он, правда, записал впечатления только перечислительно. На Ижевском оружейном заводе: «Вытягивание, загибание, сваривание, сверление. Шустение, обтачивание, полировка». На Воткинском якорно-лафетном: «Кричное производство, пудлингование, стальное, якорное, плющильное, оковка лафетов». Но ведь охватил при этом все основные операции производства! Один из летописцев Воткинска засвидетельствовал, что действительный статский советник Жуковский сам вертел колесо модели пудлингового стана.

Он и потом, на других заводах и рудниках, будет так же внимателен к производству, хотя нигде не обмолвится о причине этой заинтересованности.

Полковник Юрьевич в технические тонкости не вникал: «Вечно в огне, как Циклопы, выковывают сталь и железо на потребу артиллерии и флота», — картинно писал он жене из Воткинска⁸.

А между тем тут крылось нечто примечательное для истории отечественной техники.

В Воткинске гостей встречал, сопровождал всюду и принимал у себя дома, как хозяин, новый горный начальник — подполковник Илья Петрович Чайковский. Здесь снова произошла как бы переключка поколений, хотя и более отдаленных, чем в случае с Герценом: спустя три года в этом доме родится будущий великий композитор Петр Чайковский, который, вдохновившись элегией Жуковского «Вечер», положит ее на музыку для дуэта Лизы и Полины в «Пиковой даме».

Илья Петрович лишь недавно был назначен начальником в Воткинск, но с увлечением занимался

здесь преобразование заводских устройств, введением технических новшеств, о чем давно мечтала его деятельная натура. Именно ему принадлежала инициатива внедрения и освоения нового для русской металлургии метода пудлингования. Заинтересованный в утверждении метода, на который начальство смотрело с недоверием, он при встрече вручил наследнику «портфель, в коем заключалось шесть листов с рисунками машин», а после заставил его вместе со свитой около часу слушать чтение и объяснения «статистики завода и всех заводских операций». Мало того, подвел великого князя к специально изготовленной для этого случая модели пудлингового устройства и предложил «поиграться» на ней⁹.

Зато цель была достигнута — модель удостоилась одобрения. Теперь Илье Петровичу становилось легче воевать с казенным начальством, отстаивая нововведение. Игра стоила свеч...

Майские вечера в Прикамье длинны и светлы. Поэтому задуманная устроителями эффектная иллюминация Перми, расположенной на высоком левобережье Камы, не произвела особого впечатления на кортеж, подъехавший к городу в одиннадцатом часу пополудни. Моста через широкую в этом месте реку еще не было, переправились кто на пароме, кто на катере.

Следуя инструкции Николая, путешественники сразу же отправились в отведенные для ночлега резиденции. Жуковский от усталости клевал носом и к начатой днем записи в дневнике («Переезд из Воткинского завода в Пермь») перед сном ничего добавить не смог.

Впрочем, и остальные пермские записи не широки по информации: имена лиц, с кем пришлось

знакомиться и у кого бывать, осмотры (выставка, гимназия), катание на лодке, во время которого Жуковский успел сделать несколько зарисовок города...

Однако две темы, которые к тому же имели продолжение, стоит отметить.

«...Швецов». И через несколько строк опять: «После обеда у меня Швецов»... Кто такой Швецов, чем остановило его это имя в ряду многочисленных, конечно, знакомств этого дня?

Фотий Ильич Швецов, по должности — скромный приказчик Нижнетагильской заводской конторы, недавний демидовский крепостной. По своему же месту в истории Урала это один из даровитейших деятелей горной промышленности края, талантливый инженер, высокообразованный человек, пользовавшийся уважением и привязанностью многих своих современников. Восемь лет, еще будучи крепостным, он учился по «путевке» Демидовых в горных школах Меца и Парижа, объездил все страны Европы, изучая горнозаводский опыт. Несомненно, он был знаком со многими русскими, жившими в те годы за границей, в том числе и с эмигрантами. Не случайно в 1845 году Фотий Ильич тайно навестил в Ялуторовске ссыльного декабриста Пущина и передал ему привет из Парижа от числившегося вне закона Николая Тургенева. И кто знает, насколько часты были подобные встречи и тесны крамольные связи... Стоит также вспомнить, что приехавший в Россию в 1829 году знаменитый ученый Александр Гумбольдт еще загодя, из Берлина, выпросил у министра финансов Канкринна себе в спутники по экспедиции Швецова, которого знал по встречам в Европе.

Такая интересная фигура не могла не обратить на себя внимания Жуковского среди официальной серости, с которой приходилось общаться согласно

инструкции государя. Возможно, нашлись у них и общие знакомые.

Фотий Ильич прибыл в Пермь как представитель Нижнетагильских заводов, чтобы условиться о подробностях визита в Тагил столь высоких гостей. Потом Швецов будет сопровождать Жуковского и в Нижнем Тагиле, и в Екатеринбурге, и даже в поездке на Березовские золотые промыслы, где, видимо, обстоятельно и колоритно комментировал ему особенности золотодобычи («...Жаль очень, что я не записал многих выражений Швецова», — отметил поэт)¹⁰.

Другая тема, с которой Василий Андреевич столкнулся в Перми и которую он принял близко к сердцу, — вопрос о раскольниках. Этот вопрос всех интересовал на Урале, был злободневным и острым.

...Еще в Петровские времена, когда раскол в русской церкви достиг апогея, а гонения на староверов — предела жестокости и непримиримости, с Керженца (отсюда «кержак»), с Онеги и других, прежде казавшихся неприступными, уголков хранители древнего благочестия хлынули на Урал и в Поволжье, унося с собой «не исправленные» древние книги, старого письма иконы, нравы и обычаи, с которыми не хотели расставаться даже под страхом смерти.

На Урале они прищлись весьма кстати — бурно развивавшейся горнозаводской промышленности нужны были кадры. Насильные переселения крепостных душ положения не спасали. Трудолюбивые, строгих нравов кержаки являлись идеальной рабочей силой. Но если приказчик казенного завода не мог взять на работу объявленного вне закона старовера, то хозяева частных заводов — Демидовы, Яковлевы, Турчаниновы, Походяшины — этим ничуть не стеснялись (иные из них и сами тайно хранили преданность старой вере), с охотой брали таких, ибо это давало возможность жестче эксплуатировать людей, оказав-

шихся, по сути дела, бесправными. Не случайно Д. Н. Мамин-Сибиряк в своем историческом очерке о городе Екатеринбурге (1887) нашел возможным заявить: «Можно сказать наверно, что все заводское дело на Урале поставлено раскольниковыми руками».

Но именно заинтересованность в такой рабочей силе с годами ослабила нетерпимость властей к раскольникам. Прежнее бесправие сменилось каким-то полуофициальным признанием права на жизнь. Но не на веру — гонения церкви на обряды, священнослужителей и молельни продолжались, сила их чаще всего зависела лишь от степени фанатизма местного иерарха православия.

Одним из таких и был архиепископ пермский Аркадий, про которого даже в дореволюционных словарях так и писалось: «известный своєю деятельностью против раскола».

Жуковский записал: «После осмотра выставки у архиерея. Разговор о раскольниках. Миссии». Упомянул о камышовском миссионере Оглоблине, вероятно, особенно рьяном искоренителе иноверия.

Даже полковник Юрьевич нашел необходимым сообщить жене, что «здесь... царство раскольников, коих ныне стараются обращать в единоверие, но, кажется, с сомнительным успехом, ибо много просьб от раскольников, чтобы их избавили от миссионеров православных»¹¹. Жуковский, противник любой нетерпимости (за что нередко вызывал огонь на себя справа и слева), конечно, не мог равнодушно пройти мимо этой проблемы, за которой стояли страдания десятков тысяч людей.

Разговором с пермским архиереем дело не ограничилось. Уже через день Жуковский вернулся к нему в Екатеринбурге...

В Екатеринбург выехали поутру 25-го. В дороге, вероятно, Василий Андреевич листал врученную на-

кануне высоким гостям брошюру «Краткое статистическое обозрение Пермской губернии 1837 года». Хотя в ней всего 48 страничек в восьмую долю листа и 4 вклейных таблицы, она оформлена как заправская большая книга: в шелковом переплете, с кожаным корешком и с золотым обрезом.

Книжица эта сохранилась. Ее обнаружил в научной библиотеке Томского университета (куда в свое время от сына поэта поступило книжное собрание Жуковского) хранитель отдела редких книг В. В. Лобанов.

Но, странное дело, библиографы, историки печати о такой книге не слыхали. Не была она, очевидно, известна и маститым библиографам старого Урала Н. К. Чупину и Д. Д. Смышляеву. Категорическим «не обнаружено» ответили на запрос о наличии ее и самые крупные книгохранилища страны. Значит, только благодаря Жуковскому и дошла до нас эта, теперь уже ставшая важной (исторический документ!) книга.

26 мая в 4 часа дня поезд из восьми шестиконных экипажей и трех троек подъехал к рубежу Европы и Азии, отмеченному символическим столбом. Из дорожных погребцов были извлечены походные флаги. Переход границы континентов отметили бокалом вина и поехали, теперь уже под уклон, в Азию.

Впереди ждал Екатеринбург, по штатному расписанию — уездный город Пермской губернии, а по значению — центр горнозаводского края, фокус его производственных, торговых и культурных связей.

У Екатеринбурга тех лет была особенность, выделявшая его из среды других городов империи. Это был горный город, живший с 1807 года на особом положении: имевший свои законы, свое войско, свой суд — своеобразное государство в государстве, что

накладывало свой отпечаток на его нравы, быт и вообще на всю жизнь.

В то же время это был город экзотики: золото, добываемое чуть не в черте города; знаменитая гранильная фабрика, чудесные изделия которой из цветного камня и самоцветов сияли и сверкали в столичных дворцах; наконец, монетный двор, основанный еще при Петре.

Этой экзотикой обычно угощали высоких гостей, и именно она оставалась у них в памяти. Вот и Юрьевич клюнул прежде всего на нее — и в дневнике и в письмах для остального места не осталось: «...В Екатеринбурге, куда прибыли около 6 часов вечера, прямо отправились, не теряя времени, на старый монетный двор (где чеканится одна медная монета, я взял копейку на память), оттуда на казенный золотопромышленный завод, оттуда в лабораторию, где золото очищают и перетапливают в слитки, оттуда на гранильную фабрику, где сибирский мрамор, яшма, малахит и другие минералы получают прелестные формы, украшающие царские палаты и особенно Эрмитаж нашей Северной Пальмиры. Здесь поднесены великому князю отлично выработанные и весьма похожие портреты из камня государя и императрицы, чернильница из ляпис-лазури и огромная печать из горного хрусталя. Здесь показывали нам самородные изумруды, такие большие, каких еще не было доселе направляемо в столицу: словом, с блюдо величиною, с кристаллами изумруда почти в четверть. Это новое богатство здешних рудников»¹².

У Жуковского блеск золота и драгоценностей не вызвал особых эмоций. О показных экскурсиях он записал кратко: «Осмотр завода, золотопромышленной, гранильной фабрики, монетного двора». И все...

Зато он обратил внимание на другое — на обратную сторону экзотики, на те особенности горного

царства, которые от посторонних глаз обычно скрыты: произвол, хищения, злоупотребление властью, пышно возросшие на почве *особых законов*. Его интересует «дело лекаря, похитившего золото», история «гороблагодатского полицмейстера, убившего унтер-офицера», «жалобы работников и жандарм Косинский». А в полстрочке: «О Зотове. О Харитонове», скрывалось местное «дело века» — история этих заводчиков (в осиротевшем Харитоновском дворце, кстати, Жуковскому отвели квартиру), прославившихся не просто жестокостями, которых везде хватало, а прямо-таки исключительными зверствами на своих кыштымских и ревдинских заводах. Лишь огромные взятки во всех инстанциях, вплоть до самых высоких, спасли этих извергов от неминуемой каторги, следуемой им по всем статьям, и они отделались ссылкой в прибалтийский городок Кексгольм...

Кто мог поведать обо всем этом Василию Андреевичу? Вероятнее всего — полковник Меньшенин, берг-инспектор Горного правления, исполнявший в отсутствие Главного начальника заводов хребта Уральского (генерал Глинка только что был назначен и еще не прибыл) обязанности гостеприимного хозяина.

С первого взгляда это кажется странным: представитель горной администрации, в интересах которой показать край с выгодной стороны и скрыть темные стороны, раскрывает местные секреты представителю свиты наследника! Но если знать, что Жуковский и Меньшенин могли быть в свое время знакомы и — что уж бесспорно — связаны кругом общих знакомых, то такое несоответствие в поведении берг-инспектора не покажется удивительным.

Правда, знакомство их едва ли было близким — недаром Василий Андреевич записал в дневник, очевидно, для памяти, имя и отчество Меньшенина. Но что они могли встречаться в столице, несомненно.

Дмитрий Степанович Меньшенин (Меншенин), бывший практикант Екатеринбургских заводов, в 1816—1821 годах учился в Петербурге, в Горном корпусе. Уже в 1817 году он сблизился с кругом участников Вольного общества любителей российской словесности и стал его членом-корреспондентом. На тех заседаниях, что он посещал (и что отмечено в протоколах), присутствовали В. К. Кюхельбекер и А. А. Дельвиг, Ф. Н. Глинка и Н. И. Гнедич — словом, близкие знакомые Жуковского. А после 1820 года, когда Меньшенин стал действительным членом общества и посещал его заседания регулярно, встречался там с А. А. Бестужевым (Марлинским), Е. А. Баратынским, А. О. Корниловичем, О. М. Сомовым, К. Ф. Рылеевым.

Меньшенин не просто присутствовал на заседаниях — читал на них свои переводы, статьи и стихи. Один из его переводов («Письмо о химии») благожелательно отметил А. А. Бестужев в критическом обзоре, помещенном в «Полярной звезде».

Жуковский тоже состоял членом этого общества, но в те годы, когда Меньшенин активно в нем участвовал, Василий Андреевич из Петербурга часто выезжал.

Вернувшись в 1821 году в родной Екатеринбург, Меньшенин дельно служил, снискав себе репутацию знающего специалиста (А. Гумбольдт, взяв его в спутники, остался очень доволен им), но какое-то время еще не порывал отношений с литературой — печатался в столичных журналах. Однако служебные дела взяли верх, и к моменту встречи с Жуковским это был уже довольно респектабельный горный чиновник, которому, конечно, приятно вспомнить о давних увлечениях и о давних встречах, но и только, пожалуй. Впрочем, несмотря на занятость, он сумел уделить поэту немало времени: весь путь до Тагила проехал

в его коляске, принимал поэта у себя дома (даже в карты сыграли), спустя неделю полных три дня провел с ним в Златоусте.

Во всяком случае Василий Андреевич мог быть благодарным Меньшенину за беседы и любопытную информацию.

И куда еще занесло Жуковского в Екатеринбург — в тюремный замок! Не тоже ли по следам рассказов Меньшенина?

Краткая запись в дневнике: «Похититель изумрудов в остроге с убийцами... Суд Шемякин...» * А за нею — примечательное и трагичное «Дело Коковина», которое и доныне не разгадано полностью.

История эта связана с находкой уникального кристалла изумруда.

Командир Екатеринбургской гранильной фабрики Яков Васильевич Коковин, талантливый и энергичный человек, выбившийся из простых подмастерьев в крупного горного деятеля, до самозабвения любил самоцветные камни, собрал интересную, редкую и дорогую коллекцию их, которую, надо сказать, не то что хранил в тайне, но и показывать не любил. Драгоценный камень Коковин знал отлично, и не случайно именно он первым оценил случайное открытие изумрудов на Урале и способствовал разработке месторождения их.

Но эта же любовь к камню и погубила его.

Когда в 1834 году ему, как командиру императорской гранильной фабрики, был доставлен со Сретенского прииска огромный (в фунт весом!) изумруд,

* Между этими двумя фразами оставлено место — вероятно, для фамилии похитителя. И, что важно, стоит одно слово, не прочитанное (или опущенное) Бычковым. Это слово вроде бы «Перовский». Дальше станет ясным, почему это важно.

Коковин, обомлев от радости, не мог выпустить из рук чудесный кристалл, унес его домой и часами любовался им. Но нашлись недруги, которые донесли в Петербург, в Департамент уделов, что командир фабрики утаивает для себя наиболее ценные камни, предназначенные для царского двора, и намеревается продать их за границу.

Делу дали ход. Из столицы прибыл контролер. При обыске у Коковина действительно нашли много камней и на специальной тройке, при соответствующем донесении, отправили в Петербург в сопровождении мастерового фабрики Григория Пермитина¹³.

А дальше, как пишет академик А. Е. Ферсман в книге «Воспоминания о камне» (а за ним повторяют и другие), «Коковина с пристрастием допрашивают, сажают в Екатеринбургскую тюрьму, снова допрашивают, но через несколько дней находят его повесившимся в камере».

Но в том-то и дело, что история кончилась не так быстро, как можно понять из этих строк Ферсмана. Дневник Жуковского свидетельствует, что Коковин еще летом 1837 года продолжал сидеть в тюрьме «вместе с убийцами». А запись «Шемякин суд», очевидно, не пустые слова: «преступник», просидевший уже три года в тюрьме, продолжал настаивать на своей невинности.

Надо сказать, что и теперь, современному следователю по особо важным делам, установить истину было бы нелегко — «исходные документы» составлены очень путано (может — нарочно?). Что за минералы хранились у Коковина, где именно они были найдены? Не оговорено важное обстоятельство, что Коковин жил на территории самой фабрики. Весьма возможно, что большинство найденных камней составляли личную минералогическую коллекцию, не представлявшую материальной ценности, а ценный

ограночный материал нашли не на квартире Коковина, а на складах фабрики, рядом с квартирой, но включили в общую опись. Тут и опытный следователь развел бы руками. Если бы...

Если бы продолжение истории за пределами следственного дела не указывало на подоплеку его.

Гигант изумруд, из-за которого разгорелся сырбор, когда о нем дошли слухи до Петербурга, привлек внимание другого коллекционера камней — самого директора Департамента уделов графа Льва Перовского (кстати, хорошо знакомого Жуковскому). Именно ему, как начальнику, в ведении которого находились все гранильные фабрики, и вручил коковинские камни Григорий Пермитин. Примечательно, что именно с этого времени Пермитин под покровительством Перовского начал свою успешную карьеру — был оставлен при Петергофской фабрике «для усовершенствования в огранке камней», а на следующий год определен в технологический институт.

Милости, посыпавшиеся на незаметного, но ловкого уральского мастерового, свалились на него не случайно: страстный любитель драгоценных камней, граф Перовский решил оставить привезенный изумруд себе, а Пермитину приказал помалкивать.

Но самого-то Коковина надо было убрать с дороги. Для этого Перовский, пользуясь своими связями и влиянием, приписывает бывшему командиру фабрики какие-то упущения по службе — то ли действительные, то ли мнимые, наспех собранные и не очень убедительные.

Перовскому надо было упрятать Коковина еще и потому, что за несколько лет до этого (в 1829 году) сам же граф через директора Петергофской фабрики предложил екатеринбургскому командиру-коллекционеру вступить «в коммерческую совер-

шенно в частном виде спекуляцию» (так и написано!), но получил достойную отповедь честного служаки: «...пока служу, никаких сторонних выгод желать и искать не могу, да и сама заботливость службы того не позволяет»¹⁴.

Но «с сильным не борись», напоминала пословица. Льву Перовскому, куда уж как сильному в чиновной иерархии, не трудно было запутать дело Коковина и самому остаться вне подозрений. Тем более что суд, разбиравший дело, находился в ведении Оренбургского генерал-губернатора Василия Алексеевича Перовского. Да-да, родного брата!

Вот на это-то дело и обратил внимание Жуковский при посещении тюремного замка. Не забыл он о нем и после — несколько дней спустя, по дороге в Камышлов, записал: «Разговор за обедом о деле Коковина. Без суда да не накажется».

Увы, уж лучше бы суд — Коковин понес наказание и без суда: еще несколько лет после этого он и его жена слали жалобы царю и в разные судебные инстанции на несправедливость. Из тюрьмы его в конце концов выпустили, но без оправдательного приговора, и уволили от службы без пенсии. Памятью о нем в Екатеринбурге долго оставалась улица Коковинская.

«Изумруд Коковина» вошел в историю. О нем много писали. Тем более что дальнейшая его судьба оказалась еще богаче разными перипетиями, впору писать приключенческий роман.

От графа Перовского камень попал (был куплен или проигран в карты, точно неизвестно) к другому сиятельному коллекционеру — князю Кочубею, владельцу огромных земель на Украине, и хранился в его полтавском имении близ знаменитого, благодаря Гоголю, хутора Диканьки. Через сколько-то лет, в одну из вспышек крестьянских восстаний, дворец

Кочубеев был сожжен, а коллекции выброшены и растащены. Часть их с большим трудом удалось собрать, нашелся и знаменитый изумруд.

Молодой князь Кочубей, разгневанный на соотечественников, увез коллекцию в Вену, где предложил ее на продажу. Российская Академия наук подняла кампанию за возвращение уникального собрания, представлявшего национальную ценность, на родину. Вопрос обсуждался даже в Государственной думе.

К счастью, он был решен положительно, и выехавшие в Вену ученые-геологи В. И. Вернадский и молодой еще тогда А. Е. Ферсман приобрели коллекцию, основную ценность которой составлял изумруд Коковина, за 150 тысяч рублей. Драгоценный груз повезли на родину.

Каков же был ужас уполномоченных Академии, когда оказалось, что в пути, несмотря на особую охрану, пропали два ящика. И какова радость, когда выяснилось, что в них лежали наименее ценные минералы, а коковинский изумруд дошел в целости. С тех пор он наконец обрел покой в витрине Минералогического музея Академии наук.

Правда, позднее, сличая этот камень с данными описи образцов, изъятых у Коковина, с удивлением обнаружили, что такого камня у него не было: был весом поменее, но качествами и ценой куда выше. История так и осталась неразгаданной до конца...¹⁵

Об этом, повторяю, много писали. Но — о самом изумруде и его приключениях. Судьба камня заслонила трагическую историю человека. Две строчки в путевом дневнике Жуковского, познакомившегося с делом через знающих людей, а может быть, и беседовавшего с несчастным, помогли взглянуть на все иначе.

Что Василий Андреевич любил рисовать и слыл искусным рисовальщиком, хорошо известно. Сохранились тысячи листов его графического наследия. Кроме того, он был умелым гравером, сам иллюстрировал некоторые свои книги. Альбом его офортов с видами Павловска высоко ценится у любителей гравюр. Недаром он учился у столь известных мастеров, как академик И. Н. Уткин, дерптский профессор Зенфт, придворный художник Клара.

Специалисты отмечали особую лирическую настроенность пейзажей, своеобразный романтический почерк, созвучный его стихам, музыкальность «контурной речи».

Но совершенно особое место в графическом наследии Жуковского занимают путевые зарисовки. В пути он обычно не расставался с альбомом (только в отделе рукописей Публичной библиотеки имени Салтыкова-Щедрина сосредоточилось четырнадцать альбомов, а сколько их было вообще!). Больше того, Жуковский сам признавался, что именно путешествия сделали его рисовальщиком.

Конечно, и в этот вояж он должен был взять альбом. В дневнике не раз упоминается о сделанных им рисунках. Подтверждается это и письмами Юрьевича («Жуковский снял вид... Я пришлю тебе его копию») ¹⁶.

Но где же рисунки? Сохранились ли?

Увы, их не оказался ни в одном из известных фондов Жуковского в наших архивохранилищах — ни в Центральном государственном архиве литературы и искусства, ни в Пушкинском доме Академии наук (где собрано около полутора тысяч единиц хранения из его наследия), ни в Ленинской библиотеке, ни в основном его фонде в Ленинградской Публичной библиотеке имени Салтыкова-Щедрина. Выходит, что они не дошли до нашего времени.

Но они нашлись, хотя и не терялись — спокойно лежали в фондах отдела рисунков Государственного Русского музея в Ленинграде. То, что они оказались полузабытыми, объяснимо — долгое время они находились в неразобранной части библиотеки Зимнего дворца и лишь в 1930-х годах были переданы Эрмитажем в числе других изобразительных материалов Русскому музею.

В Зимний же дворец они попали, конечно, как подношение Жуковского своему августейшему воспитаннику и спутнику в путешествии. Тисненая надпись на кожаной папке-портфеле такова:

«Рисунки

Василия Андреевича Жуковского,
сопровождавшего Великого Князя Наследника
Цесаревича Александра Николаевича во время
путешествия Его Высочества по России в 1837 году».

И тут, пожалуй, стоит вспомнить напечатанную в «Русской старине» (1902, кн. IV) заметку А. Фомина с длинным названием: «Альбом, подаренный Фридрихом-Вильгельмом, наследником прусского престола, Василию Андреевичу Жуковскому, а последним принесенный в дар наследнику цесаревичу великому князю Александру Николаевичу, впоследствии императору Александру II».

В этой заметке, в частности, говорилось: «Летом 1901 года, интересуясь бумагами и рисунками Василия Андреевича Жуковского, хранящимися в собственной его императорского величества библиотеке в Зимнем дворце в Санкт-Петербурге, я имел возможность познакомиться с интересным содержанием шкатулки императора Александра II, заключающей в себе несколько историко-литературных реликвий...» Перечисляя их, А. Фомин упоминает и путевые рисунки Жуковского, как видно, вложенные в свое время в подаренный ему братом будущей императри-

цы альбом, представляющий собою «роскошный кожаный зеленый переплет с золотым по красному тиснением».

И вот она, эта папка, в руках. А внутри целое богатство. Можно сказать, еще не тронутое. Сто семьдесят шесть листов! Сделанных на уральском отрезке пути — от Воткинского завода до города Уральска — среди них тридцать восемь.

И один другого интереснее. Виды городов, заводских поселков, станиц, деревень. Пейзажи — горы, степи, реки...

Глядя на них, можно присоединиться к обозревателю «Современника», писавшему в 1838 году: «Нам удалось взглянуть на драгоценное собрание очерков различных мест и предметов, привезенное В. А. Жуковским из путешествия... Знатоки всегда удивлялись верности его взгляда, умению выбирать точки, с которых он представляет предметы, и мастерству схватывать вещи характеристически в самых легких очерках»¹⁷.

Справедливо относится к уральским рисункам поэта и вывод современного нам искусствоведа: «Свои пейзажи — своеобразный дневник его многочисленных путешествий — Жуковский понимал как портрет местности... удивляющий особой музыкальностью «контурной речи»¹⁸. Действительно, есть здесь и музыкальность контурной речи, точно сказано и о «портрете местности» — схвачена не только похожесть, но и дан характер изображенного.

Однако есть в его уральских зарисовках и необычная для прежних работ черта. Здесь совсем нет того, что отмечают все писавшие о графическом наследии поэта: «В них отчетливо выражается характер романтизма Жуковского: мрачные своды, унылые скалы, печальные обелиски и памятники контрастируют с сияющими вдали цветущими ост-

ровами, освещенными ярким светом»¹⁹. И тем более нет такого: «Его декоративный меланхолический рисунок... близок его поэзии общим романтическим духом и несколько холодной возвышенностью»²⁰.

Какая уж возвышенность в покосившихся хибарах, в водовозных бочках у заводской «пожарки» в Тагиле, в неприбранности майдана Магнитной... Уж на что, казалось бы, романтический мотив — Невьянская башня, с которой связано столько таинственных легенд (надо думать, что Жуковскому о ней достаточно порассказали, пока они пили чай под ее сенью 27 мая), но и она подана как-то сдержанно, суховато, как один из «колье» его дневника. Даже хребты Южного Урала, романтические уже сами по себе, не вызвали у рисовальщика желания придать им холодную возвышенность и таинственность, присущую прежним его рисункам.

Зато какой неоценимый интерес представляют они для нас сегодня! И не только потому, что созданы рукой выдающейся личности. В эти годы Урал рисовали еще очень редко, фотографии не существовало, и поэтому рисунки Жуковского стали историческими документами. Известно ли нам хоть одно изображение станицы Магнитной, ставшей ныне известнейшим городом Магнитогорском? А оно есть у Жуковского. Кто тогда мог запечатлеть всякие там Чумляцкие и Тереклинские, Сыростан и Гумберлю? А Василий Андреевич занес их в свой альбом. Даже зарисовки Нижнего Тагила, хотя его в те годы уже рисовали художники, сохранили нам неповторимые детали, не известные по другим источникам...

«В Тагиль под вечер. Мне квартира во флигеле», — записал Жуковский 27 мая перед сном.

Нижний Тагил, столица демидовского горнозаводского царства, встретил путешественников в соответ-

ствии с инструкциями, полученными из Петербургской главной конторы Демидовых — пышно и даже с форсом. Не хуже, чем в губернской Перми и в Екатеринбурге, сияла иллюминация, полыхали огненные транспаранты, оркестр и хор исполняли торжественные кантаты.

Юрьевич «поэтически» описывал жене встречу: «Высокая гора с обсерваторией, вся в ярком огне бесчисленного множества плашек, поразила глаза наши, уже привыкшие к блеску сего рода; все это отражалось в водах большого резервуара горных вод, и иллюминированный ботик посреди этих вод с хором музыкантов и певчих, игравших уже давно не доходивший до слуха нашего русский гимн Львова, довершал очарование наше. Великий князь с истинным удовольствием любовался одним и слушал другое. Ему усладительна была музыка сия после оглушительного рева «ура» более 15-ти тысяч заводских крестьян...» ²¹

Историки Тагила уточняют: ревом заводских крестьян командовал полицейский Львов.

Художник В. Е. Раев, писавший в том году по приглашению Демидовых виды их заводов, также отметил феерическую картину иллюминации в своем дневнике, а потом в «Воспоминаниях из моей жизни»: «Особенно обратила внимание... иллюминация Лисьей горы, которая возвышается почти посреди Тагила, она вся была установлена смолистыми бочками, кострами и плашками; когда все это загоралось и на вершинах дальних гор горели костры, в то время случилась темная ночь и представилась дивная картина; конечно, кто не знал прежде, что существует среди города высокая гора, тому покажется эта масса огня чем-то до чрезвычайности странным, и всех более был поражен этой фантастической картиной наш славный поэт Василий Андреевич Жуковский» ²².

Однако гости долго иллюминацией не любовались — предписанный императором режим требовал удаляться ко сну.

Зато утром демидовские управители — Любимов, Данилов, Белов — представили им обширную программу знакомства с Тагилом и его предприятиями: у богатейших в России заводчиков было чем поразить любого. Надо сказать, что Тагильские заводы благодаря усилиям талантливой плеяды крепостных специалистов представляли собой передовое по тем временам в техническом отношении производство. Историки техники много писали об изобретениях, усовершенствованиях и нововведениях тагильских мастеров и открывают в архивах все новые. Об этом убедительно говорят труды академика В. В. Данилевского, профессора В. С. Виргинского и других.

Гостям показали специально устроенную для них выставку, на которой, наряду с полной номенклатурой изделий заводов и с образцами природных богатств округа, особый интерес представляли дела рук заводских умельцев: завязанные в узел стальные пруты толщиной в руку, покрытые секретным «хрустальным» лаком художниковские подносы с росписью, художественное чугунное литье. Водили по вычищенным от многолетней грязи цехам, где мастеровые, наряженные (на эти часы) в белоснежные фартуки, привычно сновали у огнедышащих печей и домен, у грохочущих молотов и прокатных станов... Показали не видное снаружи жерло горы Высокой, которая уже начинала становиться «ямой Глубокой» — знаменитый железомagnetитовый рудник, принесший Демидовым многомиллионные доходы; промывку золота, которым хозяева баловались издавна, еще со времен могутного фундатора Акинфия, нередко, как гласят легенды, угодливо проигрывавшего императрице в карты лобанчики из своего золота...

Наследник от усталости осовело таращил глаза, поэтому почти не обратил внимания на *пароходку* — первую русскую железную дорогу, устроенную отцом и сыном Черепановыми ²³. Сын Мирон, заводской механик, сам стоял у реверса, готовый пустить машину в ход и прокатить знатных гостей (в надежде, что, может, хоть после этого хозяева обратят больше внимания на многострадальное детище мастеров). Но великий князь любопытства не проявил, а управитель Любимов не преминул отметить это в своем донесении Петербургской конторе.

Некоторое замешательство вызвал встреченный на пути с рудника монумент-памятник одному из Демидовых (но и как бы всей династии), созданный в Париже и привезенный в такую даль для всечасного любования подданным горного царства. Тагильские управители предпочли не задержаться у *нахального* монумента — на нем величественный Демидов изображен благодетельствующим своими дарами коленопреклоненной... России. Сюжет, конечно, не для глаз представителя царствующего дома...

Было приготовлено для гостей и чудо. Для этого пришлось спускаться на глубину 36 сажен в шахту малахитово-медного рудника на Вые. Там находилась пока еще не до конца очищенная от окружавших пород глыба малахита, не виданных ранее в мире размеров и весом (по обмеру) более трех тысяч пудов.

«Мы видели истинное чудо,— сообщал Юрьевич жене,— его доселе оценить нельзя» ²⁴. Оценить его, действительно, было затруднительно — находка такого количества редкого камня могла резко изменить его цену на мировом рынке.

Монолит был и в самом деле чудом. Он вошел в историю. Более того, открыл новую эпоху в использовании малахита. Именно конец тридцатых — начало сороковых годов XIX века стал золотым веком этого

камня — никогда прежде и никогда позже не было создано столько замечательных изделий из него, изумляющих мир до сих пор. Достаточно вспомнить Малахитовый зал Зимнего.

Наследник «изъявил свое удовольствие и удивление могучему и игривому действию природы», какие слова и были занесены в *бархатную книгу*, специально заведенную по приказу Демидова, чтобы записывать каждый шаг и каждое слово высокого гостя.

Слов его в этой книге записано, однако, не так уж много — разговорчивостью наследник, видимо, не отличался. При посещении училища, когда подали на пробу обед, он изрек: «*Щи хороши*». А при спуске в шахту наступил на руку горному инспектору, спускавшемуся по лестнице ниже его, для страховки, и изволил заметить: «Спускайтесь скорее, время дорого».

Но и на этом не кончилась программа дня, предложенная хозяевами Тагила: гостей отправили в Кушву. «Для нас, — записывал Юрьевич, — казалось, недостаточно было в этот день быть так глубоко в подземельи, надобно было испытать другого рода трудность и усталость: это взобраться на высоту 1200 фут (170 саж.), на гору Благодать, всю состоящую из железной руды. И здесь мы были вознаграждены за труд свой. Величественная живописная панорама открылась глазам нашим: с одной стороны — бесконечная цепь Уральских гор (гора Благодать стоит отдельно), а с другой — необозримая низменность восточной Азии: внизу озера, лес, множество воды. У подножия сей горы лежит Кушва, большое село с чугунным заводом...» (далее следует известная легенда об открывшем Благодать вогуле Чумпине с клеветой на его соплеменников) ²⁵.

Столь большую цитату приходится приводить спе-

циально, чтобы показать поверхностность впечатлений, без какого-либо проникновения в суть горнозаводского Тагила тех лет.

Не то у Жуковского. Он не поехал, остался — вероятно, хотелось не спеша осмотреть «горное гнездо», увидеть его не в показном, а в истинном свете. Вероятность такого желания подтверждается записью о проведенных вне свиты часах: «Разбор геологической карты тагильской. Обезд деревни. Переселенцы из Чернигова. Трудность доставания золота и самое нездоровое производство». Никого из свиты такое не заинтересовало.

Между тем увиденное поэтом было и впрямь достойно внимания.

Геологическая карта округа — одна из первых в стране. И хотя, как выяснилось потом, составлявший ее француз Ле-Пле много напутал, она все же помогла заводам в правильном ведении сырьевого хозяйства на много лет вперед. Показывал карту, скорее всего, один из инициаторов ее составления — Фотий Ильич Швецов.

При объезде деревни Василий Андреевич столкнулся с переселенцами из Чернигова, которые жили на Гальянке, в поселке за прудом. Их судьба, интересовавшая Жуковского, — одна из трагических страниц истории тагильских заводов.

Еще в 1828 году Николай Демидов купил в Черниговской губернии ни много ни мало — восемь с половиной тысяч душ крестьян и перевел их на свои Тагильские заводы. Пять лет спустя к ним прибавилось еще несколько сот душ мужского и женского пола, выигранных, как гласит предание, у черниговских помещиков в карты. Крестьяне считали свое переселение незаконным и настойчиво требовали возвращения на родину, посылая ходоков в губернию, в столицу, несмотря на сыпавшиеся на них за это кары.

С приездом наследника вспыхнули новые надежды найти правду.

Полицейский приказчик (была у Демидовых и такая должность) Прокофий Львов пронюхал о намерениях черниговцев и предупредил рапортом заводскую контору: «Носятся слухи, что ищущие свободу крестьяне, купленные от графа Бобринского, намерены непременно сие исполнить, то есть встать на колени и подать просьбу, и просить об освобождении их из здешних заводов». И опасливо спрашивал далее: «Как в таком случае поступать?» Как поступать обычно, он знал — гнать в шею, а тут вдруг да нельзя.

Просьбу свою крестьяне все-таки подали — при отъезде наследника. Где-то за заставой толпа крестьян с обнаженными головами бросилась наперерез экипажам, держа в руках прошения, и упала на колени. Экипаж великого князя успел промчаться, но, как свидетельствуют местные летописцы, «один из последних экипажей на секунду задержался, и кто-то из свиты принял прошение» (уж не Жуковский ли был этот кто-то?).

В прошении, в частности, говорилось: «Нам здесь жить очень тягостно, плату мы получаем малую... и хлеба нам, рабочим людям, нейдет... Просим вернуть на прежнее жительство».

Письмо, конечно, пошло не наследнику, а по канцелярским инстанциям. Известен и ответ на него. На запрос Горного правления демидовская контора отписалась категорично: крестьяне просят несбыточного, куплены и переведены они «по всем правилам и законам» ²⁶.

...Памятью о посещении Тагила в альбоме Жуковского остались два рисунка: вид на Лисью гору со сторожевой башней.

Уральские горы остались позади. «Приятная природа, ровные места, рассеянные березовые рощи», — заносил в записную книжку Жуковский, сидя в коляске вместе с Арсеньевым, по дороге в Камышлов. Но не забылись некоторые воспоминания и заботы: «Чтение записки Китаева и разговор о старообрядцах».

...В центральном государственном историческом архиве (ЦГИА СССР) в одном из дел лежит «Письмо Егора Китаева (Верх-Исетский завод) Константину Ивановичу (фамилия не установлена) о посылаемой ему записке о старообрядцах»²⁷. Запись Жуковского позволяет уточнить фамилию неустановленного лица — это, конечно, Арсеньев, один из воспитателей наследника и ученый-экономист, свой человек в высоких правительственных сферах. Записка ему датирована 31 мая, то есть днем отъезда путешественников из Екатеринбурга, а вручена, вероятно, уже когда они сидели в экипажах.

С Китаевым Жуковский и Арсеньев познакомились еще 27 числа, когда наследник с частью свиты посетил его дом, в котором за тринадцать лет до этого побывал император Александр I. Егор Китаев несомненно интересная фигура. Выходец из мастеровых, он вырос до управляющего одним из крупнейших частных заводов Урала. Энергичный и деятельный, волевой и настойчивый, отменный знаток заводского дела, с наследственной жилкой уральского умельца, Китаев образцово поставил производство, выгоняя большие барыши своим хозяевам. Его с охотой взяли бы на любой казенный завод, но он был старообрядцем, и не рядовым, а одним из главарей старообрядчества в крае.

Вероятно, и при наследнике он не побоялся затеять разговор о нуждах своих единоверцев: Жуковский после посещения его дома и заметки о каком-то «удивительном устройстве» в нем записал: «Разговор

с Китаевым». Состоялся и еще разговор — 30 мая, уже по возвращении свиты из Тагила. Тогда-то, надо думать, Китаев и заручился согласием Арсеньева и Жуковского помочь в передаче и продвижении дальше «Записки» о положении старообрядцев на Урале.

Рядом с письмом Китаева Арсеньеву в делах ЦГИА лежит дело: «Записки старообрядцев и разных лиц о положении старообрядцев на Урале и в Сибири, о поморских раскольниках, об Иргизских монастырях»²⁸. Первые пять листов в нем занимает «Записка в кратком изложении о стесненном положении Нижнетагильского старообрядческого общества и прилежащих к оному гг. Демидовых заводов» с приложением копии жалобы заводскому исправнику Тетюеву на притеснения заводских властей. Но это лишь сопроводительный документ для иллюстрации, а основу составляют остальные 10 листов: «Записка старообрядцев, находящихся на Урале» с исключительно художественно выписанным заголовком (можно подумать, что это гравюра). В ней «юрисконсультами» старообрядчества обстоятельно изложена история раскола с давних времен, систематизированы все благоприятные для раскольников указания, распоряжения и законоположения правительства, из чего следует, что нынешние просьбы о признании их прав на уважение к их вере и непритеснениях за нее вполне законны. Обосновано все это дельно и обстоятельно. Для современных историков раскола, надо думать, это важный документ.

Но, судя по тому, что «Записка» так и осталась в делах столичных канцелярий, ожидаемых результатов она не дала²⁹.

Дальше пошла Сибирь — край, пугавший дальностью и суровостью, край каторги и ссылки. Но и нетронутых почти богатств и неограниченных воз-

можностей. Петр Словцов в «Московском телеграфе» своими «Письмами из Сибири» убедительно показал это. Однако официально распространившееся мнение, будто в Сибири живут богато, что-то не подтверждалось, и дневник Жуковского на этом участке маршрута пестрит словом «бедный»: «бедность деревень» (за Тюменью), «город бедный» (Тюмень), «Тобольск бедный город», «строение бедное» (Ялуторовск)... Бедные городишки и селения встречались на пути и раньше, но почему-то именно здесь он нашел нужным занести это в дневник.

Может, потому, что просматривал новым взглядом свой давний проект, предложенный Николаю еще в январе 1830 года в письме, так и не врученном императору, но ставшем ему известным! Ведь он тогда предлагал не что иное, как поселить прощенных декабристов в Сибири, «безлюдной пустыне», как он считал, и использовать их знания, деловые качества и энергию на то, чтобы обратить ее в цветущий край. Увы, край, при его богатейших возможностях, беден, администрация бестолкова, богатства лежат втуне...

И в записную книжку (перевернув ее «вверх ногами», где-то в середине) Жуковский заносит строки нового, будущего письма императору, уже который раз возвращаясь к нему в пути: набросками заполнены страницы 31—26 второй книжки.

Конечно, деятельные люди, пекущиеся о будущем Сибири, есть, но, боже мой, как их мало! Вот Федоров, профессор астрономии, с которым некогда встречался еще в Дерпте, милейший человек — сидит в Камышлове, куда прибыл с очередной своей экспедицией. Со стороны глядя, кому нужны его астрономические вычисления в этом далеком крае? А он знает — всякое освоение новых земель начинается с геодезии, землемерия суть. Верит Федоров

в пользу науки своей, которую многие считают забавой — что-де толку звезды считать?

Кстати, Федоров был не так давно в Минусинске, встречался со многими декабристами, подружился с ними. «Мы... просто влюблены были в этого чудного человека и с большим сердечным сожалением с ним расстались», — писал потом в воспоминаниях А. Беляев³⁰. Жуковский, конечно, сожалел, что не было времени расспросить его подробнее...

Мало, мало Федоровых в Сибири! Тем внимательнее вглядывался он в лица — может, народ из своей среды выдвинет деятелей, способных преобразовать край? В Тюмени пробился к наследнику какой-то изобретатель пожарной машины (а пожары здесь повальные, ставшие почти привычным бедствием!). Вот и лица у людей здешних какие-то особенные («Чистота происхождения в наружности и физиономии крестьянина», — записал он). В этих краях, в связи с особенностями колонизации, не было крепостного права в обычных его формах. (И. И. Пущин писал в 1845 году Е. А. Энгельгардту: «Это благо всей Сибири, и такое благо, которое имеет необыкновенно полезное влияние на край и без сомнения подвинет ее вперед от России».)

А версты бегут, бегут мысли... «Дорога по прекрасному ровному полю», — успел черкнуть в тетрадь. «Растения полевые разнообразные. Чернозем». А ведь о черноземе лишь мечтают в какой-нибудь Псковской губернии...

В Тобольск прибыли после полуночи. Освещенный сотнями площаек, какой-то большой дом на горе казался парящим в воздухе огненным кораблем. С Панина бугра, на котором разместился кремль, в полупрозрачности сибирской ночи угадывались очертания жилых кварталов, а за серебрящейся под

луной лентой реки — бесконечная серая даль. По силуэтам церквей (Жуковский насчитал их пятнадцать) можно было предположить, что город большой и богатый. Но утром убедились в обратном. Древняя столица Сибири хотя и носила в то время титул губернского города, жила больше былой славой — на востоке росли и богатели менее старые, но более перспективные соперники. Столицей ссылки вернее было бы назвать ее теперь.

Но проблем у молодого, потенциально богатого и очень специфичного края много, и решать их надлежало здесь, в губернии. Генерал-губернатор Горчаков, человек, по воспоминаниям современников, весьма недалекий, пытался решить их сочинением прожектов (вот и наследнику поспешил выложить), но своей нереальностью они только подчеркивали остроту положения.

Жуковский отважно принялся знакомиться с ними. Мы можем только догадываться, что скрывалось у него за такими «коляями» дневника, как «О состоянии Сибири», «О ссыльных», «О преобразовании Омской области», «О составе сибирского общества», но несомненно, что он честно хотел разобраться в обстановке, понять, что же это за край — Сибирь, имя которого в России произносилось чаще всего с угрозой («В Сибирь!») или с ужасом («В Сибирь?!»).

Зато порадовал Тобольск литературными встречами. Жуковский отметил в дневнике кратко: «Ширков. Евгений Милькеев. Ершов». И тут можно позволить себе, не опасаясь исказить суть, представить себе эти встречи...

...Вот он, наш милый сказочник Петр Павлович Ершов, автор так высоко оцененного Пушкиным «Конька-горбунка». Еще год назад — житель Петербурга, постоянный посетитель литературных сало-

нов, в том числе и «суббот» Жуковского на его казенной квартире в Шепелевском доме. Печатался, имел успех, а потом взял да и уехал неожиданно в свой Тобольск, куда добровольно, кажется, никто еще не ездил. Чем он здесь занимается? Учитель гимназии? Конечно, и это доброе дело, но остается ли время для литературы?.. Прослезился, вспоминая об участливых словах великого поэта в адрес его, тогда робкого провинциала-сибиряка.

Разговор с Ершовым и обрадовал и опечалил. Обрадовал тем, что сказочник не бросил пера, устроил театр, сочиняет для него пьесы и сам играет в них. К тому же очень увлечен своим новым поприщем, мечтает о перестройке всей системы гимназического образования. Побольше бы Сибири Ершовых, Федоровых!..

А опечалил рассказом о том, что мечты его не встречают поддержки, директор Качурин, грубый и косный, чинит препоны. Ершов дал понять, что не прочь был бы вернуться в столицу, но на что там жить? Вот если бы место какое...

Рассказал еще, что к приезду наследника местные любители подготовили представление оперы «Сибирский день», либретто которой написал Ершов, а музыку — ссыльный поляк Констанций Валицкий. Да вот огорчение — великий князь не пожелал ознакомиться, представление отменили. Василий Андреевич посочувствовал, но изменить тут что-либо было не в его силах. (Зато потом помог смягчить обиду — принял от имени наследника партитуру оперы и вручил награду, 500 рублей ассигнациями.)

В тот же день при посещении гимназии Жуковский указал наследнику на учителя Ершова, тихо сказал что-то. «Очень помню», — ответил великий князь, скользнув взглядом по мешковатой фигуре автора сказки, читанной ему некогда тем же Жуков-

ским на уроках. Намеренно громко, чтоб другие слышали, Василий Андреевич заметил: «Я не понимаю, как этот человек очутился в Сибири». Ершова смутила загадочная фраза. Как понимать ее: как намек на возможный переезд в Петербург? Или как замечание для местных властей о значительности его персоны?.. На другой день к вечеру он решился нанести визит его превосходительству, как следовало титуловать Жуковского по его чину действительно-го статского советника. Но Василий Андреевич чину придавал мало значения — обнял, как друга, усадил в покойное кресло. Расстались поздно, разнеженные воспоминаниями, одинаково дорогими для обоих.

Еще одна встреча — Милькеев Евгений Лукич. Тоже пиит, но еще не свершившийся. Бедный канцелярист, робкий до неловкости. Самоучка, скуден грамотой. Забавно рассказывал, как своим умом доходил до правил версификации («Язык и правила мои в слоге заняты из того, что успел я прочитать порядочного. Грамматических терминов не знаю, риторических формул подавно... Целые ночи были проведены в усилиях открыть тайну. Наконец со- считал я гласные буквы в печатном стихе, прислу- шался к ударению, и завеса приподнялась») ³¹.

Принес тетрадь стихов, старательно переписанных витиеватой канцелярской каллиграфией. Василию Андреевичу они понравились — он нашел в них талант, «глубокое религиозное чувство и стремление к высокой философии». Религиозности и стремлений было, конечно, больше, чем таланта, но кому не ведомо, что талант-то — это, прежде всего, стремление и труд. Жуковский ободрил молодого человека, обласкал, обещал содействие и поддержку. И сдержал слово. При его участии уже в начале будущего года Милькеев приехал в Петербург, а потом в Москву,

где его пригрели литературные друзья Жуковского. В 1843 году они помогли ему выпустить книгу стихов. В хоре разноречивых ее оценок все решил сокрушительный отзыв Белинского, отказавшего автору в самобытности и даровании. Дальнейшая судьба Милькеева подтвердила этот вывод. Недостаток знаний, неумение трудиться довершили дело — тобольский канцелярист не стал серьезным поэтом (но в этом Жуковский уже не был виноват) ³².

И — на тебе! — тоже сочинитель, некий Ширков, мещанский сын, как он рекомендовался. Поднес великому князю трактат «Извлечение из проекта добродетели» и был удостоен милостивого внимания. Но сие не по его, Жуковского, части. Добродетель незачем проектировать, надо служить ей всечасно... ³³

Могла быть и еще одна встреча, но Жуковский не отметил ее, и осталось неизвестным, состоялась ли она. Где-то тут, рядом, находился еще один поэт — ссыльный декабрист Чижев, бывший морской офицер, разжалованный в солдаты. Правда, Жуковский прежде не знал его, а сам он, помня о своем положении, представиться, наверное, не посмел.

Чижев в Тобольске дружил с Ершовым, написал вместе с ним водевиль «Черепослов», и, возможно, Петр Павлович сказал что-то Жуковскому о своем друге, но в дневнике поэта это не отмечено. Впрочем, Чижев, кажется, стремился к встрече не с Жуковским, а с наследником. Он — единственный из живших в то время на Урале декабристов! — подал сыну Николая I прошение о помиловании и вручил верноподданнические стихи (они были потом анонимно напечатаны в «Русском инвалиде») ³⁴. И в том же году был уже произведен в унтер-офицеры.

В тобольских записях Жуковского нет ничего о декабристах. Но нетрудно установить, что именно там он начал претворять в жизнь свой план дейст-

вий, направленных на смягчение их участи. Свидетельством тому — письмо наследника императору из Тобольска от 3 июня: «Мне было бы чрезвычайно приятно, милый папа, если это возможно, чтобы приезд мой принес этим несчастным облегчение в их судьбе»³⁵.

На этом и был построен план Жуковского. В беседах с наследником он пытался вызвать у него жалость к «несчастливым», внушал, что смягчение участи сосланных осталось бы надолго в памяти Сибири и всей России как акт, связанный с его, будущего монарха, путешествием по стране. Тот же прием проходит основной темой в набросках письма к Николаю (а потом и в самом письме): «...Случай единственный... Теперь или никогда... Пускай он будет предметом вашей благодати... Тогда будет памятно...»

Теперь или никогда... Может, это Жуковский твердил и себе тоже?..

Из Тобольска отправились в пять часов утра. Однако по сторонам улиц жались теснимые городскими толпы народа. Во взглядах надежда — у кого на что.

Самая восточная точка маршрута оставалась позади. Но Сибирью еще ехать и ехать.

Сибирь, Сибирь... Великая и обильная...

«На переезде из Тобольска до Тюмени ничего примечательного...»

Да и в Тюмени тоже не нашлось ничего примечательного. «Город бедный» — с десятков деревянных и шесть каменных обывательских домов (заслуживающих внимания), даже одно из «присутственных мест» — в постоялом доме. Острог и больница для ссыльных оставили ужасное впечатление... Разве что примечателен городничий Игольников, «воин

и кавалер», с Георгиевским крестом и медалью на старом мундире, возможно, соратник по «стану русских воинов» где-нибудь под Бородином или Красным; у Жуковского где-то дома, в шкатулке, тоже хранилась медаль за этот памятный для него год...

Зато при выезде из Тюмени несчастный, огорчительный случай: «Бедственное начало дня в Тюмени. Раздавленная женщина». Описав далее событие более подробно, Жуковский потом почему-то зачеркнул эти строки: «Выезд мой из Тюмени был несчастный. В толпе народа, стремившегося за великим князем, женщина подвернулась под лошадей, и ее ушибло колесом. Я оставил ее на руках нашего подлекаря; не знаю еще, что он скажет. Городничему дано 200 рублей для лечения. Но этого мало». В хлопотах о пострадавшей он отстал от кортежа и потом горько сетовал на эти два несчастья...

Народа при встречах и проводах, действительно, везде толпилось много. И те, что согнаны для кричания «ура», и те, что любопытны до всего, и те, кто с просьбами, с прошениями, с надеждами — их-то больше всего. Как ни отгоняет их охрана, все равно бросаются со своими бумагами прямо под копыта лошадей. Что их винить — у народа много нужд...

Но прошениями ведает в основном полковник Юрьевич. А он почти в каждом письме домой досадливо и брезгливо жалуется на обилие и «нахальство» просьб: «Здесьшний народ полудикий ужасно заваливает нас своими бестолковыми прошениями, приехав на ночлег, что обыкновенно бывает поздно, должно разобрать эти глупые просьбы... Горе, а читать надобно!»³⁶

«Горе» сановника, недоспавшего часок, и — горе народное. Как их соразмерить?..

Жуковский торопил ямщика, стараясь догнать поезд еще до Ялуторовска: ведь там Якушкин, Ма-

твей Муравьев-Апостол, сын старого приятеля, барона Ивана Петровича Черкасова — Алеша, которого в детстве тетешкал на руках...

Не поспел... В письме к матери наследника, которая в свое время тоже была его ученицей и с которой он позволял себе иногда быть откровенным, Жуковский с горечью сообщал: «К несчастью, остав на дороге, я приехал в этот город в ту минуту, когда великий князь выезжал из него, я после горько, горько упрекал себя, что там на минуту не остановился: я пропустил случай утешить своим посещением бедных изгнанников, и этот случай уже никогда не возвратится»³⁷. Для себя в дневнике занес коротко: «Досадно до отчаяния, что не остановился в Ялуторовске».

Удалось лишь передать поклоны через кого-то из встречавших у въезда в город: городничего, почтмейстера или «скакуна на дрожках». От кого-то из них же выведал накоротке — кто как и с кем вместе живет, что и занес наспех в дневник.

Черкасов один, без жены. Бедный Алеша! И Якушкин один. Но этот умнейший человек не падает духом. Задумал ланкастерскую школу для местных ребятишек, хлопочет о ее официальном признании, а пока сам стругает классные доски и рисует карты.

А вот Ентальцев (не знал его прежде) не один. Жена его, Александра Васильевна, одна из первых женщин-декабристок, отправившихся вслед за мужьями и братьями в Сибирь. Жаль, что сам Андрей Васильевич нездоров — мучает душевная болезнь. И, несмотря на это, на несчастного шлют доносы. Совсем недавно его дом окружил целый полицейский отряд — в очередном навете сообщалось, что государственный преступник Ентальцев прячет у себя в сарае пушки и боеприпасы, приготовленные «к прибытию его императорского высочества государя

наследника». И смех, и грех! И — боль. Ничего не нашли, конечно, даже отдаленно похожего, но сколько волнений причинили!

И Матвей Иванович Муравьев-Апостол, брат несчастного Сергея, казненного вместе с Рылеевым и другими, еще в Восточной Сибири женился на сироте, бедной воспитаннице чиновника Бухтарминской таможни, Марии Константиновне. Живут пока у товарища по ссылке Василия Карловича Тизенгаузена, который завел свой дом.

Не поспел. Досадно до отчаяния. Удастся ли встреча в Кургане?

Удалась!

Подъехали к городу сонные, после трудной своей однообразностью дороги. Несмотря на поздний час, иллюминация, еще издалека видная на степном горизонте, усердно освещала маленький городок, похожий больше на деревню. На улицах конечно же народ — такое событие в дремотном мире далекого сибирского захолустья!

«Ночь была тихая и прекрасная, — записал потом в своих воспоминаниях декабрист Николай Иванович Лорер. — Наконец показались жандармы. Я и многие из моих товарищей, по их советам, при приближении экипажа наследника, считая присутствие наше в такую минуту у его дома неприличным, удалились к Нарышкиным, жившим насупротив дома, в котором остановился его высочество»³⁸.

Советам жандармов разве поперечишь!..

Однако жандармы перестарались — наследник (по наущению Жуковского), оказывается, изволил справляться о ссыльных и даже выразил удивление, почему их не было на улицах при встрече.

Едва заглянув в отведенную квартиру, Жуковский поспешил в дом Нарышкиных.

Здесь собрались почти все члены небольшой колонии декабристов.

Хозяин дома, Михаил Михайлович, с женой Елизаветой Петровной. Дочь знаменитого героя войны 1812 года генерала Коновницына, любимая фрейлина императрицы, она воспользовалась этими связями лишь для того, чтобы одной из первых отправиться за мужем в Сибирь. На каторгу, а потом и в ссылку.

Опираясь на костыли, сидел Андрей Евгеньевич Розен. Несколько месяцев назад он серьезно повредил ногу, требовалось выехать в Тобольск к хирургу, но губернатор Горчаков категорически отказал.

Обычно живой и остроумный Лорер — дядя знакомой всему пушкинскому окружению черноокой умницы А. О. Смирновой-Россет, угрюмо молчал, глядя в окно на догорающее зарево иллюминации.

Владимир Иванович Лихарев, Михаил Александрович Назимов, Иван Федорович Фохт делали вид, что заинтересованы пасьянсом, который раскладывала Анна Васильевна Розен — тоже одна из тех, которых потом Некрасов в своей поэме назовет святыми. Узнав о суровом приговоре мужу, она, не раздумывая, бросила все, что имела, оставила на попечении сестры малолетнего сына и отправилась в дальний и трудный путь к Нерчинским рудникам. Для нее он был особенно труден: не имея средств, она ехала одна, без припасов, на перекладных, из-за чего на каждой станции приходилось ждать и унижаться.

Все они сидели сейчас настороженные, взволнованные — тесный кружок людей, спаянных общей судьбой. Не было только Александра Федоровича Бриггена: расстроенный окриком жандарма, он ушел на свою квартиру и лег с головной болью.

И уж никак не ждали они после этого окрика

столь позднего визитера. Да еще кого — Жуковского, которого больше всего хотели видеть, с которым связывали многие надежды.

«С каким неизъяснимым удовольствием встретили мы этого благородного, добрейшего человека! — вспоминал потом Лорер. — Он жал нам руки, мы обнимались. «Где Бригген?» — спросил Василий Андреевич и хотел бежать к нему, но мы не пустили и послали за Бриггеном. Когда он входил, Жуковский со словами «Друг мой, Бригген!» кинулся к нему на шею».

Как удивится всякий, узнав, что, говоря словами самого Жуковского: «Ни одного из встреченных мною в Кургане я не знал прежде!»

«Целая ночь пролетела незаметно для нас, — записал Лорер. — Жуковский смотрел на нас, как отец смотрит на своих детей. Он радовался, что мы остались теми же людьми, какими были, что не упали духом и сохраняем человеческое достоинство»³⁹.

О чем они говорили в ту ночь? О, им было о чем порасспросить, порассказать! О Пушкине и его дуэли, о знакомых, о родных. О себе — ну, например, что Бригген переводит «Записки о Галльской войне» Юлия Цезаря и хочет посвятить перевод Жуковскому. О бесправном положении детей Розена, родившихся в Сибири, — по закону они числятся крестьянами и... кто знает, что их ждет. О лекарской практике Фохта, прославившего здесь «врачом всех бедных». О девочке-приемыше Ульяне, живущей у Нарышкиных, — семь лет назад в Чите они спасли ее от продажи какому-то купцу и взяли на воспитание. О прежней жизни в разных местах Сибири и судьбах тех, кто остался там с надеждой на возвращение, и тех, кто уже никогда не вернется...

Жуковский успевал и слушать, и рассказывать, и рассматривать дом, чтобы описать его потом

в дневнике. Взял на заметку и «сломленную ногу» Розена (чтобы написать императрице, с просьбой посодействовать в лечении), о «тающей от горя по матери» болезненной Нарышкиной (о которой тоже не преминет написать той же Александре Федоровне, хорошо знающей ее)...

Эта ночь окончательно утвердила Жуковского в решении снова писать царю. Писать самому, несмотря на возможность повторения «головомойки», полученной некогда, и не надеясь на посредников — императрицу и наследника.

«...Наступило утро, стали благовестить к обедне, — продолжал вспоминать Лорер. — Жуковский ушел будить наследника. Только что он ушел, как прибегает к нам опять объявить, что его высочество желает, чтобы и мы были в церкви... Жуковский собрал нас в кучу и поставил поближе к наследнику... По окончании обедни наследник пристально посмотрел на нас, поклонился и вышел из церкви».

Примечательные подробности, свидетельствующие о все более энергическом нажиме Жуковского на наследника. Разогрев железо, он торопливо ковал его, не давая остынуть. К этому надо добавить еще то, о чем тогда не мог знать Лорер. Во-первых, по наущению Жуковского наследник в Tobольске приказал губернатору Горчакову подать ему список всех поселенных в губернии декабристов, что намекало на возможные изменения в их судьбе. А во-вторых, известно, что из Кургана наследник тоже писал отцу (несомненно, по настоянию Жуковского), снова прося о милости декабристам, уверяя, что люди эти «ведут себя чрезвычайно тихо и точно чистосердечно раскаялись в своем преступлении», хотя сам знать об этом, конечно, не мог.

В описании этого дня Лорер сопоставляет имена Кавелина и Жуковского. Два совершенно различных

человека сопровождали наследнику в качестве руководителей и наставников: «Бригген служил с Кавелиным в Измайловском полку, они были товарищами, друзьями... Бригген принял даже роту от Кавелина... При этом случае Кавелин сознался Бриггену, что в ротном ящике недостает 6 тыс. рублей, им промотанных, но Бригген внес свои собственные и дал товарищу квитанцию в принятии роты... После таких дружеских, близких отношений так ли должны были встретиться старинные друзья, из которых один возвысился, а другой пал? Кавелин даже не спросил о Бриггене и когда узнал его в церкви, то только кивнул ему головой... Какая разница с Жуковским!» (Вспомним: «Ни одного из встреченных мною в Кургане я не знал прежде!»).

Лорера хорошо дополняет А. Е. Розен. В своих «Записках декабриста» он вспоминал, что еще перед приездом наследника курганская семья декабристов держала совет, обращаться ли к нему с просьбой о возвращении на родину. И рассудили, что это будет неудобно по отношению к остальным, оставшимся в Сибири,— «они остались бы исключенными». Лишь Розен решился искать свидания с великим князем, и то не ради себя, а в заботах «о судьбе семейства, когда меня не будет». Свидание могло состояться, но его не допустил дежурный адъютант... Кавелин⁴⁰.

Приезд Жуковского взбодрил декабристов, показал им, что лучшие люди России, несмотря на разность взглядов, с ними. «Еще один луч надежды озарил наши сердца»,— писал Лорер.

Надежды надеждами, однако до просьб о смягчении своей участи они не унизились. Лорер с достоинством отметил: «В разговоре нашем с Жуковским Нарышкин сказал ему, что ни он сам, ни товарищи его не просят, да и не смеют просить для себя никакой милости, но ходатайствуют, ежели им это

позволено, за изгнанника чужой земли, 72-летнего князя Воронежского, которого одно желание — умереть на родине, на Волыни». (Василий Андреевич поговорил со стариком и обещал содействие. Вскоре ссыльный поляк, участник одного из выступлений шляхты против России, был возвращен на свою Волынь.)

Курганская встреча глубоко взволновала и самого Жуковского. Даже от императрицы он не утаил этого: «Простясь с ними, я живо почувствовал, что такое изгнание»⁴¹. И что никакая головомойка, пусть даже отставка, не заставят его смолчать...

Они очень неразборчивы — эти строки письма к монарху, наскоро набросанные где придется и полустершиеся вскоре же, но шесть с половиной десятилетий спустя все же расшифрованные трудолюбивейшим Иваном Афанасьевичем Бычковым.

«Я давно имел в виду писать... Те же идеи взволновались...» — ложились на бумагу корявые разномовеликие буквы, недописанные слова, прыгающие на ухабах строчки...

Те же идеи, что тогда, то есть семь лет назад. Продуманный и взвешенный проект, в полезности и необходимости которого он теперь убедился на месте: «Амнистия... т. е. возвращение в семейство... Дав гражданские права и возвратив их детям и позволив свидеться. Бедных же употребить на службу с жалованьем...»

Проект гуманный, милосердный и вместе с тем не исключавший права монархии карать своих противников. Но мстительность государя не знает границ, этим он в отца, удушенного в Михайловском замке...

И, снова перевернув тетрадь, Жуковский продолжает начатые после Кургана записи: «Ветер гуляет.

Мельницы на равнинах... Чудная равнина...» А между этих элегических строк инородной нотой скорбный вздох: «будущее пробуждает печальную мысль».

Возможно, в эти же часы его спутник («У меня в дилижансе Юрьевич»), тоже обозревая окрестности, обдумывал строки письма к жене о своем пребывании в Кургане: «И это место для преступников, для ссыльных!.. Нельзя довольно удивляться великой благодати государя, когда подумаешь о великом преступлении безумцев, пользующихся всеми благами мира сего, кроме возможности возвратиться на родину»⁴².

Так и написал: всеми благами мира сего!..

Проплывают мимо деревни. Сменяемые на подставах свежие кони мчат экипажи по зауральской равнине. «По обеим сторонам песок», — фиксирует Василий Андреевич привычно, а в голове, наверное, стоит упрямо — «Случай единственный»... Где-то по дороге обедали («Разговор за столом о ссылочных и поляках»). Ночевали в Чумляцкой («Мой ночлег у дьякона»). Следующим днем отметил «изменение в видах» — всхолмленные предгорья Урала. После однообразных равнин Зауралья пошла экзотика — башкирские кибитки, табуны необъезженных коней, угощение кумысом, неповторимой красоты озера и все круче вздымающиеся горы.

А в голове, вероятно: «Теперь или никогда».

И наверняка отметил бы он своим пристальным глазом не только экзотику («Обед. Калмыцкая красавица») и красоты («Вид отдаленный на Урал»), но и слезящиеся от трахомы глаза башкирских ребятишек, стариков в рваных халатах позади выстроившихся в первом ряду баев в бархатных жилетах и их широкоскулых жен с богатыми монистами на дородных телесах. Вызнал бы и отметил беспримерное расхищение исконных башкирских земель — за цибик

чаю, за новые халаты мулле и старосте, за горстку мятых трешек в обмен на тысячи десятин плодородной целины. Но не тем, видно, занята была голова на этом отрезке пути — «Теперь или никогда!». Ближайшая дневка, несколько часов уединения в спокойной обстановке — вот чего он ждал...

«Проезд через Миасский завод. Прибытие в Златоустовский». Наконец-то!..

Златоуст — не такой уж большой заводской поселок, приютившийся у подножия горы Косотур, в самом, пожалуй, живописном месте Южного Урала. Основанный в середине XVIII века купцами Мосоловыми небольшой железоделательный заводик со временем перешел в казну и стал одним из лучших в Европе оружейных заводов. В эти годы к тому же он ходил в ранге горного города, как и Екатеринбург, которому он только и подчинялся, — жил по своим особым законам.

Тон жизни здесь задавал, конечно, завод — прекрасно по тем временам оборудованный, щедро субсидируемый казной, с отлично налаженным производством, квалифицированными кадрами мастеров, передававших секреты профессии от отца к сыну.

Ах, какие здесь делали пистолеты и латы, мечи, сабли и шпаги, украшенные чернью, золочением и художественной чеканкой! «Фабрика украшенного оружия» славилась уникальными изделиями, чести обладать которыми удостаивались немногие — короли, императоры, полководцы.

Заводом и всем горным округом руководил тогда выдающийся металлург Павел Петрович Аносов, подлинный новатор техники. Это он раскрыл тайну булата и доказал, что варить сталь заданных качеств можно не эмпирически, наугад, а по законам науки. К приезду высоких гостей у Аносова оказался не-

преднамеренный сюрприз — именно к этим дням поспел клинок из легендарной дамасской (теперь уже златоустовской) стали, необычайной крепости, с затейливым узором металла. Для Аносова это было праздником, наградой за многолетний труд. И для его помощников-умельцев, чей труд он высоко ценил.

Словом, в Златоусте было что показать и что посмотреть. Хозяева показали, гости посмотрели, принимали памятные подарки — кому какие, смотря по чину и рангу, постреляли по картам из поднесенного каждому оружия. Но больше, кажется, увлеклись природой, и в самом деле здесь необыкновенной. Отважились даже подняться, по примеру Александра I, побывавшего тут в 1824 году, на сопку, названную его именем. Не все дошли до вершины, но для рассказов дома и этого было довольно. Юрьевич писал супруге: «Посылаю три сорванных на самой вершине одной из самых высоких гор Уральского хребта... гелиотроп, колокольчик и горный нарцисз... Что за прелесть в сих местах Уральские горы!»⁴³

И горы, и завод — все посмотрел Жуковский. Но записал впечатления дня необычно кратко: «Осмотр при восходе на гору. Осмотр производств. После обеда у пастора и одного из колонистов. Чай у Ахматова. Стрельба в карты». Причина краткости становилась ясной в конце записи: «Письмо государю».

Едва добравшись до отведенной ему комнаты, до уединения, до стола, Жуковский достал специально хранимую для ответственных писем бумагу и открыл тетрадь с черновыми набросками письма, к которому готовился всю дорогу. Весь вечер и ночь просидел он за ним. На рассвете переписал начисто и усталый и довольный бросился на постель...

Письмо это хорошо известно, не раз печаталось и цитировалось. И не раз давало повод упрекать поэта в верноподданнической лести. Но не следует

спешить с подобными приговорами. Надо понять, что в этом, непривычном для нас, стиле не только прием «дипломатии», но и узаконенная дворцовым этикетом форма, отступление от которой считалось дерзостью. Даже наследник в письмах к отцу вынужден был так или иначе придерживаться ее.

Но очистите от неизбежной в этом случае словесной шелухи истинные мысли писавшего, и за внешней льстивостью письма увидится дерзость. Да, дерзость упрека в немилосердии, злопамятстве, негуманности, дерзость самого факта предложения, с которым к царю не осмелился обратиться еще ни один человек в России.

Жуковский просил не о какой-то абстрактной милости вообще, а выдвигал аргументированный план облегчения участи декабристов ради пользы России и сохранения хотя бы видимой гуманности монархии русской, деспотичность которой уже стала нарицательной в Европе. («Никогда случай, подобный теперешнему, не представится вам для облегчения действий вашей благости».)

Утром Василий Андреевич вручил запечатанный пакет фельдъегерю, дожидавшемуся пробуждения наследника, чтобы отвезти в Петербург очередную почту. Как ОН там воспримет это?..

Тяжесть с души спала: сказал все и облегчил душу — так говорили римляне...

...«И облегчил душу». И, в самом деле, судя по дневнику и проснувшейся активности Жуковского, он будто снял с плеч тяжелую ношу, давившую его все эти дни. Сознание исполненного долга принесло с собой раскованность, свободу внимания и действий. Он снова стал шутливым и общительным. Разделил спутников на партии «чаистов» и «простоквашистов», возглавив созданную им партию «пирож-

кистов». В дороге восторженно отмечал красоты природы. Стал увлеченно рисовать (с Тобольска альбом был заброшен!)...

Примечательная статистика: если с 22 мая (Воткинск) по 3 июня (Тобольск) он сделал всего 12 рисунков, а с 3 по 7 вообще не рисовал, то тут — как прорвалось: 7 июня — пять рисунков, 8-го (в Златоусте) — шесть, 9-го — четыре, 10-го и 11-го — по пять. Двадцать рисунков (из 38 уральских) за четыре дня из 23 проведенных в этом краю!..

И, что не менее примечательно, записи о природе стали иными. Теперь в них видится зерно поэтического образа: «Огромный камень посреди равнины, как вершина погребенной горы...», «Взволновавшаяся и окаменевшая пустыня...», «Горы, как лев или крокодил, лежащие поперек. По спине их дорога». Это же, можно сказать, поэтические заготовки.

В дневнике нет стихотворных строк, но появилось поэтическое восприятие увиденного. Василий Андреевич пребывал не просто в хорошем — в возвышенном настроении.

Живописная, сдобренная восточной экзотикой, дорога между Златоустом и Оренбургом проходила по форпостам пограничной линии, за которой шли земли «немирных» киргизов и калмыков. Поэтому путешественников сопровождал отряд казаков, что еще более усугубляло романтичность обстановки.

Проехали Орскую крепость, памятную по рассказам Пушкина в его «Истории Пугачева». Несколько лет спустя здесь будет отбывать горькую солдатчину Тарас Шевченко, для выкупа которого из крепостной зависимости в мастерской Брюллова дожидается оригинала недописанный портрет Жуковского.

В разгар жаркого дня прибыли в Оренбург — центр обширного края, границы которого были не вполне ясны и самому правительству.

...«Тотчас с Далем на берег», — первое, что записал (и сделал) Василий Андреевич в Оренбурге.

Даль, милый Даль! Близкий и дорогой сердцу человек: лишь четыре месяца назад оба они присутствовали при последних минутах Пушкина, приняли его последний вздох. Это ему Александр Сергеевич сказал свое последнее: «Кончена жизнь...»

Здесь Даль служил при губернаторе, но вся грамотная Россия знает его заочно как Казака Луганского, автора занимательных и поучительных «Сказок». Но еще не знает пока как создателя всемирно известного в будущем «Толкового словаря живого великорусского языка».

О чем уж они беседовали там, на берегу полноводного Урала, мы не знаем — ни тот ни другой свидетельств не оставили. Но несомненно, что кроме обмена новостями рассказали об общих знакомых, о своих делах и планах, в разговоре присутствовали и местные темы: сложности национального вопроса в этом еще не прочно освоенном крае, брожения в Уральском казачьем войске, незадачливость дипломатической политики по отношению к азиатским соседям. Кое-что из этого намеками отразилось и в дневнике Жуковского.

Гостей в эти сложности можно не посвящать. Вместо этого для них был устроен «азиатский праздник» со всем возможным и невозможным набором восточной экзотики, какого ни до, ни после тут не видали.

Юрьевич восторженно описывал его жене на многих страницах: «Я не буду тебе описывать, друг мой, всего того, чем угостил Перовский своего гостя: для подробного описания всего виденного нами надобно много времени... скажу только, что он мастерски успел соединить европейские удовольствия с азиатскими потехами... Азиаты, образованные на

европейский манер, новосформированные полки башкирцев, смешанные с Уральскими казачьими полками, стройными маневрами занимали великого князя; а вечером Киргизская орда, прикочевавшая нарочно для приезда великого князя к Оренбургу, забавляла его всем, чем только могла: тут была скачка на киргизских лошадях маленьких полунагих киргизят... интересная скачка тех же мальчишек на верблюдах; тут была борьба дюжих полудиких киргизов по их манеру; тут были показаны образцы заклинанья змей, хождения босыми ногами по голым острым саблям, дикая пляска... музыка на дудках и гортанная. Среди кочевья... прекрасная огромная галерея, нарочно выстроенная, после всего нами виденного была назначена для отдохновения вечером: она вдруг осветилась шкаликами и...»⁴⁴

Словом, начался бал посреди оренбургской степи. Наследник разошелся, танцевал до часу ночи и явно нарушил инструкцию отца, предписывавшего удостоить местных дам лишь польским и двумя-тремя французскими кадрилями.

Жуковский накануне вечер провел опять-таки с Далем, а утром неожиданно заболел. Пришлось ставить ему пиявки. Но представлением соблазнился и он, после обеда сбросил халат и отправился (конечно же с Далем) на «азиатский праздник».

Красочное, необыкновенное представление увлекло Василия Андреевича. Он даже забыл на время о болезни и оживленно следил за номерами, сменявшимися по взмаху платка распорядителя. Достав из сюртука неизменную путевую тетрадь, торопливо заносил в нее подсказываемые Далем названия национальных музыкальных инструментов, исполнителей, предметов. Зашли на чай, устроенный по-восточному в кибитке. Заглянули в галерею, где был устроен какой-то «театр». На бал не остались.

С Далем он почти не расставался и следующий день. С утра Жуковский снова сказался больным. Похоже, что болезнь была импровизированной, чтобы не ехать со свитой в Илецк, смотреть соляные ломки. Владимир Иванович принес банку с пиявками и... друзья вдоволь поговорили.

Был здесь, в Оренбурге, еще один давний и близкий знакомый Жуковского — сам хозяин края, все- сильный генерал-губернатор Василий Алексеевич Перовский. Они подружились лет двадцать назад, когда оба начинали свою службу при дворе: Перовский в качестве адъютанта великого князя Николая Павловича (нынешнего царя), а Жуковский — учителя его молодой жены Александры Федоровны. Жизнерадостный, остроумный и любезный (но вместе с тем гордый и обидчивый) Перовский полюбился Василию Андреевичу (как, впрочем, в те же годы и Пушкину). К тому же более опытный в придворной службе Перовский при случае охотно играл роль товарища-наставника своего нетитулованного тезки. Сближало их и нечто общее в биографиях: оба были «незаконнорожденными». Правда, Перовский, побочный сын могущественного некогда государственного деятеля и богача графа А. К. Разумовского, чувствовал это на себе менее, чем Жуковский, сын хотя и небедного, но далекого от двора тульского помещика Бунина.

В истории их приятельства была одна забавная страница, характерная для всегда верного в дружбе Жуковского. Заметив, что Василий Перовский увлечен молодой фрейлиной графиней Самойловой, к которой Василий Андреевич и сам был неравнодушен, поэт великодушно «уступил» другу предмет их общего внимания. И даже написал по сему случаю стих:

Товарищ! Вот тебе рука!
Ты другу вовремя сказался...
...Любовь друзей не раздружит.
Сим несозревшим упованием,
Едва отведенным душой,
Подорожу ль перед тобой?

(К слову сказать, причина конечно же была глубже: Жуковский и без этого готовился к отступлению. А графиня Самойлова предпочла обоим друзьям третьему лицу — графу А. А. Бобринскому, за которого и вышла вскоре замуж.)

Но на этот раз времени для дружеских бесед едва ли достало — положение обязывало Перовского неотлучно сопровождать высокому гостю. Да и в нынешнем сановитом и грозном генерале трудно уже было угадать прежнего, охочего и до стихов и до проказ товарища. Впрочем, старых друзей Перовский помнил — несколько лет назад гостеприимно встретил полуопального Пушкина, приехавшего собирать материалы для «Пугачева», хотя имел предписание установить за ним негласный полицейский надзор.

Лишь под конец выкроил время и для Жуковского, чтоб уединиться: «15 июня. Переезд из Оренбурга до Уральска... Я вместе с Перовским». Но — дружба дружбой, а табачок у них, конечно, был врозь, как сказал бы охочий до русских пословиц Владимир Иванович Даль...

Описывая этот переезд, Жуковский наконец-то занес в дневник слова, которые давно уже как бы висели в воздухе: «Ссора с наследником». После этого становятся понятными некоторые туманные места его прежних записей:

31 мая. Переезд из Камышлова в Тюмень. «На первой станции великий князь сел верхом. Ко мне

больше внимания». Значит, до этого внимания было меньше?..

5 июня. Слобода Исетская за Ялуторовском. «Обед. Глупая ссора за столом. Не возвратиться ли мне? Ошибка». И вздох о «неутешном сожалении». С кем ссора? Ясно, что не с простым спутником, если даже возникла мысль о возвращении домой.

Описывая в «Отчете за 1884 год» бумаги Жуковского, поступившие в Публичную библиотеку, И. А. Бычков обнаружил в одной из путевых тетрадей набросок письма к цесаревичу, частично расшифровал и привел в «Отчете» несколько строк⁴⁵. Однако в публикацию дневника этот набросок почему-то не включил.

Вот что спустя годы удалось прочитать мне (отточия с вопросительным знаком в скобках означают неразобранные места):

«Я весьма недоволен, что Вы рассудили меня разжаловать из попов во дьяконы, то есть взять у меня мой 3 № и дать мне 5. Для чего вы это сделали, не знаю, ибо никто из вашей свиты никогда не отставал от вас, а если кто и отставал, то много-много на час или на два — мой же экипаж тяжелее, и я теперь буду принужден тащиться шагом там, где коляска на тех же лошадях ехала бы рысью. Одним словом, вы мне сделали неприятность (..?) своих лошадей, мне объявляют, что они (..?) мне дал худых. — Было стыдно и досадно, но делать нечего. Хотя бы вы приказали наперед самого спросить. Признаюсь вам, такое обращение крепко мне не нравится. Я прошу вас меня от него избавить. Не называйте меня взыскательным. Я должен быть с вами взыскателен: а вы (..?) кто-нибудь должен быть (..?) и не со мной одним, а со всеми. Оскорбить легко, загладить трудно. Я с своей стороны требую от вас внимания, внимания во всяком своем обра-

щении. Я имею право и на дружбу вашу, но это не всегда дается. Вниманием же ко мне обязаны. Вы скажете, что сделали без намерения — согласен и никак не предполагаю (..?) вы скажете, что не имели намерения меня оскорбить — это я без вас знаю! Как можно вам, князь, оскорбить меня! Но...»

Было ли это письмо с достойной отповедью наследнику за его хамство закончено и передано по назначению — неизвестно.

Вероятнее всего, инцидент был вызван задержкой Жуковского в Тюмени (ушибленная лошадью женщина) — догнать поезд свиты удалось только в слободе Исетской. Но дело состояло, конечно, совсем не в том, каким номером будет следовать экипаж Жуковского в кортеже. Взаимное недовольство, переходящее в ссоры, нарастало. Надо думать, что поэт стал понимать неудачу своего педагогического эксперимента. Надежды воспитать царя-Человека, монарха-гуманиста не оправдались. Мечты о сочетании человеколюбия и самодержавия остались мечтами.

Вырвавшись из-под надоевшей опеки, почувствовав себя не на уроке, видя теперь свою персону в центре внимания, уже могущим повелевать, наследник показал, что он воспитан не одним Жуковским. В чем-то он еще следовал его советам и наставлениям, но уже позволял себе и самостоятельность в суждениях и решениях, вольность в поведении, вплоть до хамства. Самостоятельность, почерпнутую прежде всего в наставлениях отца-императора. А у царя взгляды на жизнь и на обязанности человека существенно (мягко говоря) расходились со взглядами Жуковского.

Отсюда — взаимные недовольства и ссоры.

А ссориться Василию Андреевичу было нельзя. Это грозило срывом плана, отступить от которого он уже не мог.

И не ссориться тоже нельзя: на глазах рушилось то, что он пытался создать своим воспитанием.

Ситуация эта доставила немало неприятных минут и привела в конце концов к решению, которое, не создавая впечатления демонстративности, позволило сохранить собственное достоинство и как-то избежать дальнейшего обострения отношений. Жуковский решил отстать от поезда наследника. Хотя бы на время.

22 июня он отправил императрице из Казани письмо с просьбой разрешить ему «остаться в Белеве, на моей родине, с моими родными на то время, которое государь-наследник употребит на путешествие от Калуги до Смоленска и на возвращение в Калугу. Это составит всего-навсего не более десяти дней».

Это было, конечно, полумерой, но обстановку как-то разрядило. На это время. Но не вообще...

Экипажи неслись по только что отремонтированному тракту. «17 июня... Дорога прекрасная. Дождь. Холодноватый день. Степь сменяется небольшими возвышенностями». Приближалось Поволжье. Жуковский покидал Урал, увидеть который ему больше не доведется. Подводил ли он мысленно итоги своим уральским верстам — кто знает. Дневник о том молчит.

Но если бы подводил, то несомненно отметил бы, что познакомился с краем своеобразным, где и природа, и люди, и заводы, и нравы — все не такое, как в срединной России, хотя тоже свое, российское. Вольно или невольно прикоснулся к его проблемам. Увидел и заинтересовался производствами, с которыми прежде не встречался. Познакомился со многими интересными людьми. Кому-то из них помог и посодействовал. Повидал томящихся в ссылке тех,

кого, при всем несогласии с их взглядами, не мог не уважать глубоко и искренне и за облегчение участи которых считал своим долгом так настоятельно бороться.

Увенчается ли только эта борьба успехом? Уже вторая неделя, как послано письмо из Златоуста, и третья, как ушло письмо наследника из Тобольска...

Фельдъегерь нагнал поезд на пути между Буинском и Симбирском 22 июня. Пакет из императорской ставки в Ропше был адресован наследнику, и все молча ждали, когда он прочтет содержимое. Наконец он перекрестился и торжественно объявил о государевой милости к несчастным и обнял находившихся подле Жуковского и Кавелина. Все трое со слезами на глазах облобызались.

Однако умиление Жуковского было недолгим. Когда *высочайшее письмо* было прочитано, оказалось, что милость своеобразна. Во всяком случае совсем не та, о которой просил и которой ждал Василий Андреевич: «В ознаменование пребывания его высочества в Кургане» некоторым из поселенных в Тобольской губернии декабристам разрешалось... поступить в отдельный Кавказский корпус рядовыми солдатами.

На месте это «разрешение» поняли так, как, очевидно, и хотелось императору. Лорер в воспоминаниях рассказывает:

«Городничий наш, Бурценкович, навещавший меня обыкновенно часто, но всегда пешком, подъезжает ко мне на дрожках, в мундире, с довольно озабоченным лицом:

— Скажу вам новость довольно неприятную, Николай Иванович,— начал он и замялся. — Вы назначены солдатом на Кавказ...

— Шутите?

— Ей-богу, нет!

— А прочие?

— Все, кроме Бриггена».

Назначение солдатом теоретически давало возможность выслуги и получения офицерского звания, но... Кавказ в то время был удобным местом для ссылки «неудобных» людей — многие там и оставались навеки, убитые в боях. Так что тут стоило призадуматься над царской милостью, над этим решением.

«Я крепко призадумался, — продолжает Лорер. — Так казалась мне странна эта мысль... Теперь, после 12-летней жизни в Сибири, с расклеившимся здоровьем, я снова должен навьючить на себя ранец, взять ружье и в 48 лет служить на Кавказе. Непостижимо играет нами судьба наша!.. Волнуемый неожиданностью, спросил тогда же городничего:

— Если это новое наказание, то должно мне объявить мое преступление. Ежели же милость, то я могу отказаться, что и намерен сделать...»

Но от царских милостей не откажешься, не позволят. И 21 августа те, кого коснулось «разрешение» — Лорер, Назимов, Нарышкин, Лихарев, Розен и Черкасов, — отправились в дальний путь, «в новый, неизвестный нам край, из 40 градусов мороза в 40 градусов жары» (Лорер).

В Тобольске к ним присоединился Александр Одоевский, живший на поселении в Ишиме. Одоевский погибнет на Кавказе от малярии два года спустя, а Лихарев падет в перестрелке с горцами. Царь знал, куда послать...

Но и эта нещедрая милость коснулась не всех. В Кургане остались Бригген и Фохт, а из ялutorовцев ее удостоился лишь один Черкасов, об остальных в депеше не упоминалось — кто был стар для солдатчины или болен, кто, с точки зрения Николая, слишком опасен (например, «потенциальный царе-

убийца» Якушкин). Благо и предлог нашелся — «В ознаменование пребывания его высочества в *Кургане*» (в Ялуторовске-то ведь он не был!). Вот когда, наверное, Василий Андреевич снова с отчаянием «горько, горько упрекал себя», что, отстав в Тюмени, он не имел возможности убедить наследника задержаться в Ялуторовске!

В письме к императрице из Симбирска 24 июня Жуковский в восторженных словах благодарит за «милость самодержца, произнесенную во имя сына», рассыпается в комплиментах наследнику, «которого юношеский умоляющий голос так легко претворил строгость в помилование», утверждает, что якобы «никто не побуждал его к состраданию, он сам с прелестною сыновнею свободою и доверенностью высказал все государю» и уверял высокопарно: «Какими глазами будет смотреть Россия на этого милого сына царского!»...

Лицемерие?... А если и лицемерие?! Ведь здесь лицемерие — это не то гаденькое качество, которым мелкие и низкие душонки ищут для себя выгод и милостей сильных. Здесь искательство не для себя, не ради себя. О себе он просит редко и всегда с достоинством. Здесь другое. Принятая в определенных условиях форма отнюдь не обязательно соответствует содержанию. Лицемерием была пропитана вся атмосфера монархического двора (и не только русского), там это было формой существования, образом жизни.

Конечно, с нашей точки зрения можно было бы письмо императрице написать сдержаннее, с большим достоинством, но... Стоит ли упрекать Гете за то, что он носил мундир министра и склонялся в низких поклонах в приемных государей, презирать Ломоносова и Державина за то, что они писали хвалебные оды Екатерине и ее любовникам? Не надо

оправдывать лицемерие, но можно его понять, помня о противоречивой сложности натуры Жуковского и об условиях, в которых он жил.

Примечательно, однако, то, что Жуковский, многословно благодаря в письме императрице за уже дарованные милости, совсем нелогично вроде бы, упорно говорит о тех, кого милость обошла. Он пишет, что «не возвращен семейству» Черкасов (как Кривцов и Чернышев, осужденные по тому же разряду) и что мачехе его, приезжавшей ходатайствовать за пасынка в Петербург, не удалось пробиться к Бенкендорфу. Что не может выехать в Россию смертельно больная Нарышкина. Что Розену надо лечить ногу в Тобольске. Упоминает остающегося в Кургане Бриггена. И, что уж совсем удивительно по дерзкой смелости, пространно пишет о Якушкине, имя которого вызывало у императора прилив ярости. И что пишет! «Якушкин... особо достоин замечания по своему характеру... Такие люди достойны того, чтобы милосердие подало им руку». Это уж не намек, а прямое требование: подайте же ему эту руку!

Что из того, что Василий Андреевич уверяет императрицу, будто у Якушкина «прежнее неверие обратилось в глубокую веру», приписывает ему «признание вины своей и покорность провидению» (это Якушкин-то, оставшийся до конца дней своих стойким и верным прежним идеалам!).

Опять лицемерие! Да, но настолько явное, что звучит издевательски. Что делать, если в дворцовом мире это «модус вивенди»?! Надо же как-то выручать Якушкина.

Нигде нет прямых свидетельств, что Жуковский остался недоволен решением царя. Больше того, он восторженно благодарил за него. Но разве из приведенного выше не ясно, что в душе он не мог чувствовать себя удовлетворенным?! «Милость» даже

отдаленно не походила на его проект («возвращение в семейство... гражданские права... служба с жалованьем»). В Кургане он «вселил надежды», а обернулось это солдатчиной. Что теперь думают о нем там?!

Жуковский, конечно, был огорчен видимостью амнистии. Но его положение не давало ему возможности прямо заявить о своем недовольстве.

И это огорчение тоже было одним из итогов уральского вояжа поэта. Итог-урок, который, надо думать, сыграл свою роль в эволюции взглядов на проблему «декабристы и монархия».

Через день после восстания на Сенатской площади, зная лишь сам факт бунта против царя, но не зная ни целей восставших, ни размаха движения, Жуковский отправил Александру Тургеневу, одному из самых близких своих друзей, взволнованное письмо с сообщением о *происшествии*. Возмущаясь «безумством возмутителей», он клеймил их разбойниками. Клеймил, не зная еще, что обливает грязью своего лучшего друга и родного брата того, кому он пишет,—Николая Тургенева, одного из идеологов и руководителей декабристского движения.

Письмо это опубликовано давно и широко известно. И именно оно стало определяющим в характеристике отношения Жуковского к декабристам. А ведь давно известны и другие факты, другие документы, приведенные хотя бы в статье историка Н. Дубровина (1902). Из нее и из других источников известно, что еще в июне 1826 года, накануне казни пятерых декабристов, Жуковский решился принять участие в судьбе Якушкина, одного из самых дерзких и опасных, по мнению царя, обвиняемых.

В январе 1830 года Жуковский ходатайствовал о прощении Николая Тургенева, приговоренного к

смертной казни (потом замененной вечной каторгой).

В этом же письме он выдвинул проект амнистии декабристам, о котором уже говорилось выше.

В разное время Жуковский просил за В. Кюхельбекера, Ф. Глинку, А. Бриггена.

Граф Лаваль писал в январе 1829 года дочери Екатерине Трубецкой, последовавшей за мужем в Сибирь: «Человек, который при каждой встрече говорит мне о тебе, это Жуковский: он просит, чтобы я напомнил тебе о нем».

Да что там говорить, пусть назовут еще хоть одного человека, который столько заступничал за декабристов, и заступничал открыто! Если и были заступники, то пеклись о родственниках, но никто о посторонних. Он был единственным, и это надо понять!

Что это — прекраснодушие? Но никто еще из-за этого не решался рисковать положением, благополучием. А Жуковский рисковал и сознательно шел на огонь.

Может быть — неразборчивость? Не все ли равно, за кого заступаться, лишь бы быть добреньким? Но неизвестно ни одного случая, когда бы Жуковский заступился за казнокрада, взяточника или обскуранта типа Булгарина.

Зато известно, что еще до поступления на дворцовую службу, в 1817 году, он пытался добиться смягчения участи ссыльного поэта А. Мещевского, предложил напечатать отдельным изданием в его пользу присланную из ссылки поэму, а когда друзья-арзамасцы затянули это дело, пенял им: «В Сибири терпение тяжелее...»

В том же путешествии 1837 года, узнав о высылке Лермонтова за крамольный стих памяти Пушкина, Жуковский обращался к Бенкендорфу и к самому царю, заступничая за молодого поэта.хлопотал он за него и позднее.

Хлопотал за молодого критика Киреевского, которому грозила суровая кара за его статью «Девятнадцатый век». За сосланного в Усть-Сысольск и объявленного сумасшедшим редактора журнала «Телескоп» Надеждина. Помог выбраться в родную Польшу опальному Мицкевичу. Выкупал на волю Тараса Шевченко. О Пушкине можно не говорить — это общеизвестно.

Нет, не случайно кричал царь, распекая Василия Андреевича: «Тебя называют главою партии, защитником всех тех, кто худ с правительством». О какой неразборчивости можно говорить, когда налицо совершенно определенная *избирательность!*

Если Жуковский и не был единомышленником декабристов, то и противником, тем паче врагом их, его никак не назовешь. Советские исследователи доказали, что он знакомился с «Зеленой книгой» (уставом Союза Благоденствия) еще в 1818 году. Что тогда же основатель тайного общества А. Н. Муравьев предлагал ему вступить в их ряды. Жуковский вежливо отклонил предложение, считая себя неподходящим для этой роли. Его неизменная позиция: «Ни моя жизнь, ни мои знания, ни мой талант не стремили меня ни к чему политическому». Однако он тут же добавлял: «Но когда же общее дело было мне чуждо?»

Сообразно со своими взглядами на монархию, роль свою в этом общем деле Жуковский видел другой. Тогда он не знал еще, какой будет эта роль, но, когда пришло время, он ее сыграл, и мы не имеем права забывать об этом.

Веря в возможность просвещенного и гуманного абсолютизма, он, конечно, заблуждался и, кажется, начинал понимать это и сам.

...И это тоже было одним из итогов путешествия 1837 года — новые капли в давно уже полнившийся сосуд.

Отправляясь в путешествие, Жуковский не возлагал на него больших надежд. Едва ли это была его идея, он только участвовал в разработке ее программы по данным ему установкам и старался придать ей еще и нравственные цели.

Он писал матери наследника: «Наше путешествие можно сравнить с чтением книги, в которой теперь великий князь прочтет одно только оглавление, дабы получить общее понятие о ее содержании». А дальше, в другом письме, пояснил свою мысль: «Я не жду от него большой жатвы положительных практических сведений о состоянии России: для этого мы слишком скоро едем, имеем слишком много предметов для обозрения, и путь наш слишком определен: не будет ни свободы, ни досуга, а от этого часто и желания заниматься как следует тем, что представится нашему любопытству. Мы соберем, конечно, много фактов отдельных, и это будет иметь свою пользу; но главная польза вся нравственная, та именно, которую только теперь можно приобрести великому князю: польза глубокого, неизгладимого впечатления»⁴⁶.

Он не учел, что одно и то же увиденное может вызвать у разных людей разные впечатления. Уже уральская часть путешествия убеждала в этом.

Да и дальнейший путь был едва ли легче. Наследник все основательнее входил в роль начинающего монарха. А тут еще к поезду в Казани примкнул князь Ливен, назначенный Николаем как бы старшим распорядителем путешествия, но из-за внезапной болезни задержавшийся почти на два месяца.

О роли Ливена в этом вояже убедительно сказал Юрьевич в письме к жене: «Жаль, очень жаль, что он не мог с самого начала быть с нами: мы бы авось все остались с головами или по крайней мере не теряли ее там, где нужно, где необходимо представлять и важность сана доверенного лица, и хладнокровие

в распоряжениях»⁴⁷. Не трудно предположить, что здесь явный намек на внимание наследника к декабристам под влиянием Жуковского.

Естественно, что это добавление к дорожной компании не способствовало созданию нормального для Жуковского климата поездки.

Отношения все ухудшались. И теперь это был уже необратимый процесс.

6 июля, через две недели после царской «милости» декабристам, Василий Андреевич явственно почувствовал это. Фельдъегерь привез в Воронеж известие о награждении воспитателей наследника, в том числе участвовавшего в поездке А. А. Кавелина. Имени Жуковского в списке не было. «Мне пощечина», — понял он, так и записал в дневнике⁴⁸.

В выжимках биографии поэта иногда сообщается, что «в 1841 году он, щедро награжденный царем, вышел в отставку». Но в фактическую отставку Василий Андреевич вышел раньше. В 1838 году ему пришлось отправиться в новое путешествие с наследником, на этот раз по Западной Европе. Вернувшись оттуда, Жуковский написал императрице резкое письмо, где заявил прямо, что солдафонские наклонности наследника могут в будущем подготовить «еще одно 14 декабря» (и мог бы напомнить, что еще значительно раньше предупреждал, что увлечение плац-парадами, а не науками приучит «видеть в народе только полк, а в отечестве казарму»). Если даже император и не узнал об этом письме, Василий Андреевич и сам понимал, что отставка после этого неизбежна. Продолжая еще какое-то время числиться при дворе, обязанностей воспитателя после этого он, по сути дела, не выполнял...

Это все потом. А пока впереди еще долгий путь до Крыма и возвращение через Москву домой.

17 декабря, после почти семимесячного отсутствия, Жуковский подъезжал к Санкт-Петербургу. Над столицей полыхало зарево. Нет, не иллюминации — горел Зимний дворец...

Дневник, письма некоторые... Но все ли это из того, что было написано Жуковским во время уральского вояжа? Или после, но о нем? Имеющиеся описания его рукописного наследия говорят: все. Но никто не возьмется утверждать, что это действительно так.

Дневник путешествия — это всего лишь «колья», а письма, те, что опубликованы и известны, это в основном донесения императрице с пути, от которых трудно ждать полной искренности, доверительности, откровенности.

А между тем должны быть еще и другие письма, мог быть и более полный обзор путешествия.

Что касается писем, то о них не раз свидетельствует в дневнике сам Жуковский. А что отчет о путешествии мог быть написан, узнаем из его же письма к императрице: «Едва успеваю записывать в свой журнал, чтобы после как-нибудь привести в порядок». И дальше: «В свое время буду иметь счастье представить вашему величеству полный и сколько возможно подробный отчет нашего путешествия, который тогда только может быть к чему-нибудь годен, когда напишется на просторе и без спеха»⁴⁹.

Какой-то отчет, «изображение впечатлений во время путешествия», Жуковский, видимо, обещал не только императрице, но и журналу «Современник». Однако в статье «Путешествие В. А. Жуковского по России», напечатанной в первой книжке журнала за 1838 год, с сожалением сообщалось: «Обстоятельства, кажется, оставят надолго нашего поэта в долгу перед отечеством и всеми читателями его таланта. Эти прекрасные страницы истории, в свое время не вышедшие

в свет, будем считать отложенным капиталом литературы»⁵⁰.

Несмотря на туманность стиля, последнюю фразу можно понять и так, что писавший эти строки знал о существовании «прекрасных страниц», которые Жуковский почему-то не захотел пока публиковать.

И если бы все это — новые письма, отчет, обзор для «Современника» — нашлось, уральский вояж поэта предстал бы перед нами еще более интересным и значительным.

А может, еще и найдется?..

ПУТЕВОЙ ДНЕВНИК В. А. ЖУКОВСКОГО (записи с 22 мая по 15 июня 1837 года)

Путевой дневник В. А. Жуковского еще ждет своего тщательного исследования — кропотливой текстологической подготовки на современном научном уровне и обстоятельного комментирования. И, конечно, издания — он будет так полезен исследователям.

Но пока такого издания нет, стоит привести уральскую часть путевых записей хотя бы в старой публикации по журналу «Русская старина» (1902, т. СХ) с некоторыми поправками ошибок, выявленных при сверке отдельных мест с оригиналом дневника. Эти исправленные слова, а также и пропущенные в публикации И. А. Бычкова, напечатаны здесь курсивом. Оставшиеся неразобранными слова и целые места отмечены отточиями со знаком вопроса в квадратных скобках — [..?]

22 мая. Ижевский завод, Воткинский завод.— Нератов генерал; полковник Грен. Запруженная Ижъ. Твердость плотины. Отвоз ружей до Камы. До 40000 в... Железные обрезки. Вытягивание, загибание,

сваривание, сверление. Шустание, обтачивание, полировка. Прицелы. Брак. Лекала. Проба штыков. Бесцельная выдумка. Проба ружей. Разрыв от худых ружей. Место худой сварки [..?] Укладка ружей [..?] — Переезд из Ижевского завода на Воткинский; кричное производство, пудлингованье, стальное, якорное, плющильное, оковка лафетов. Ночевал у англичанина. Вечер писал письма.

23. Переезд из В. завода в Пермь.

Пермь. 24 числа. Поутру осмотр выставки. В гимназии. Баранов. Швецов. Князь Максutow. Антропов, директор гимназии. Вице-губернатор Андрей Федорович. Бывший губернатор Гаврило Корнеевич. Хозяйка Розен. *Архиерей*. После осмотра выставки у архиерея. Разговор о раскольниках. Миссии. Камышовский миссионер Оглоблин. После обеда у меня Швецов. Катанье по Каме. Хозяйка Розен. Визит к вице-губернатору и к губернатору. Писал после бани письма.

25. Переезд из Перми в Бисерск. Виды по дороге Урала. Ночевали в Бисерске на почтовой станции.

26. Переезд из Бисерска в Екатеринбург. Обед. Осмотр завода, золотопромывальни, гранильной фабрики, монетного двора. Меншенин. Ввечеру поездка по городу. Иллюминация. Квартира у Харитонова.

27. Четверг. Пребывание в Екатеринбурге и переезд в Нижнетагильск. — Осмотр завода Верхнеисетского. Больница. Дом Китаева. Удивительное устройство. Чугунное производство. — Тюремный замок. Похититель изумрудов... в остроге с убийцами. *Перовский* [..?] Суд шемакин. — Больница. Обедня. Разговор миссионера. Поездка в Тагиль на тарантасах. Я вместе с Меншениным. О Зотове. О Харитонове. Дело гороблагодатского полицмейстера, убившего унтер-офицера. Дело лекаря, похитившего золото. Дорога сначала неживописная и дикая, потом

виды прекрасные: вид на Урал и рощи частые. Невьяновский завод. Старинный дом Демидова, колокольня около древней церкви и двор. Здесь пили чай. В Тагиль под вечер. Мне квартира во флигеле.

28. Пятница. Обзорение Тагиля. Завод. Чугунные изделия. Медное производство. Лудильное производство. Литье чугунное: доски. Выставка изделий: чугун, железо, медь, золото, платина.— Училище на 130 мальчиков. Тесно и низко.— Больница в прекрасном состоянии; аптека (три лекаря). Куриоз — монумент Демидову, восстановителю Тагиля: *учащийся, выучившийся, служащий, покровительствующий наукам и искусствам.* — Железный рудник. — Пароходка. Промыванье золота.— Спуск в малахитно-медный рудник, 36 сажен. Спуск по стремянке, восход по лестнице. Малахитовая масса в 2 сажени длины, в $1\frac{1}{2}$ сажени толщины и в $1\frac{1}{2}$ сажени вышины.— Отбытие великого к. на Кушвинский завод. Я остался отдыхать в Тагиле.— Фотий Ильич Швецов. Александр Анисимович Любимов. Павел Данилович Данилов. Дмитрий Васильевич Белов. Управление.— После сна разбор геологической карты тагильской. Обезд деревни. До 4000 домов. До 5 капитала 100000. До 200 от 50000 до 10000. Переселенцы из Чернигова. Трудность доставания золота и самое нездоровое производство. Возвращение в. к. в $\frac{1}{2}$ 11-го.

29, суббота. Возвращение из Тагиля в Екатеринбург. Дорогою жалобы работников и жандарм Косинский. В шесть часов после обеда поездка на Березовые золотые промыслы. Россыпи и жилы. Бочка песку. Больница. Промывальная машина [..?] Осмотр шахты и жил старого разрушенного гребня, в коем кварц золотоносный. Взрыв [..?] Жаль очень, что я не записал многих выражений Швецова.— Визит Меншенину. Карты. Дмитрий Степанович Меншенин.

30 мая, воскресенье. Разговор с Китаевым. На

обсерваторию. Подполковник Варвинский. Викарий Евлампий.—Переезд из Екатеринбурга в Камышлов. Приятная природа, ровные места, рассеянные березовые рощи. Переезд с Арсеньевым. Чтение записки Китаева и разговор о старообрядцах. Чудесная дорога, памятник Модераха. Камышлов [..?] народ. Крупные люди. Живое любопытство. Федоров, профессор астрономии.

31 мая. Переезд из Екатеринбурга в Тюмень. Длинный город на берегу Туры. Приезд в дождь. Встреча. Толпа. *Бухарцы*. — Я ночевал у вдовы Матрены Алеиной. Характер физиономий жителей. Три нюанса встречи: искренность, простое любопытство, благодарность.

Переезд из Камышлова в Тюмень. Дорога ровная и прекрасная, по сторонам березовые рощи мелкие, между ими пашни. На первой станции — *Черемыш* — великий князь сел верхом. Ко мне больше внимания. Разговор за обедом о деле Коковина. Без суда да не накажется. О подающих просьбы. — Граница Сибири. Песок и березы. — Тугулым. Народ собирается со всех сторон. В. к. в закрытой коляске. Более чистоты в постройке некоторых изб. — Чистота происхождения в наружности и физиономии крестьянина. — Дорога песчаная и мягкая. Чернозем.

1 июня. Переезд из Тюмени в Тобольск *. Город (Тюмень. — Ю. К.) бедный. 10 церквей, 6 каменных обывательских домов, не считая казенных. Присутственные места в постоялом доме. Голова Иконников. Улучшенная им больница городская. Ужасное состо-

* Под 1 июня помещена в дневнике еще запись в следующей редакции: «1 июня, вторник. Татарские деревни. Кладбище в роще. Мечеть. Бедные избы. Скирды с хлебом. Разлив Туры. Пустые деревни. Множество уток. Весьма бедные деревни». (Прим. И. А. Бычкова.)

яние острога и больницы ссыльных. Болезни. Венерическая болезнь. — Городничий Игольников, воин и кавалер. Привилегия до 1842 года для купцов 2 гильдии иметь права 1 гильдии. — Переправа по Туру весьма продолжительная. Высадка на берег в 7 часов. Кожевенные заводы затопленные. — Дорога по прекрасному ровному полю. Растения полевые разнообразные. Чернозем [...?]. Разбойник Vollbaum. — Переправа через Туру и обед в Иевлеве. — Прекрасные сосновые рощи. Пашни. — Два перевоза. — Татарские деревни. Сторожевые караульни плетеные. Бедность деревень. Приезд в Тобольск в 12 часов. Переезд 260 верст с 11-ю переправами. Кн. Горчаков. Иллюминация. Высокий берег Иртыша, переменившего место.

2 июня. Пребывание в Тобольске. Ширков. Евгений Милькеев. Ершов. Осмотр училища и выставки. Прием чиновников. Архиерей Афанасий. Губернатор Повало-Швейковский. Голофеев. Комендант Жерве. Мурзы киргизские. Иван Семенович Пестов. Чтение бумаг к. Горчакова. О состоянии Сибири. О ссыльных. — После обеда у Горчакова с Арсеньевым. В 9 часов бал. Вечер после бала дома. Простуда.

3 июня. Пребывание в Тобольске. У Горчакова. Чтение о преобразовании Омской области. Разговор о ссыльных. О составе сибирского общества. Мнение о допросах; нынче хотят в Сибирь. Прежнее состояние *hogs Ia Ioï **, нынешнее безнаказанное состояние. У архиерея. Осмотр города. У великого князя чтение о киргизцах. После обеда — в тюремный замок. Рыков. На выставке. У меня Ершов и Попов. У кн. Горчакова. Лакей-поселенец.

4 июня. Переезд из Тобольска в Тюмень. Отъезд в 5 часов. Переправа через Иртыш. О поселенцах в

* Вне закона.

Енисейской губернии. Обзаведение. Приселение к старожилам. Железные копи. Остяцкие промыслы.—Тобольск — бедный город. С 1580.—Нижний город не богат, верхний без воды. Холодные береговые ветры. 15 церквей. Дом архиерейский. Присутственные места (Чичерин, Безобразовых зять). Деревянная мостовая. Осыпающаяся гора. Каменные здания: генер.-губ. дом, церкви. Деревянный гостиный двор. Осмотр острога (Рыков). Верхний и нижний город.—В верхнем архиерейский дом. Присутственные места (малая плата). Тюремный замок. Собор (премерзкий).—На переезд из Тобольска до Тюмени ничего примечательного. Приехали в $\frac{1}{2}$ 12, выехав в половине четв.

5. Переезд из Тюмени в Курган. Бедственное начало дня в Тюмени. Раздавленная женщина.— I станция. Песок и потом болото. Ель, изредка береза. II. Насыпные пески и болото, по сторонам дороги — березовые рощи. У станции перевоз. На 17 версте подстава. Последняя половина станции — менее песку и менее болота. Те же березовые рощи. Равнина и пашня. Вторая половина дороги легче. Романово. Прекрасная равнина. Дорога легкая. Вырубленная роща.— Пар. Березовые рощи прекрасными группами.— Чудный чернозем.— Показывается липа.— Курил.— Около Ялуторовска глубокий песок и березовые кусты. Подъезжая к городу — две прекрасные березовые рощи.— Из-за реки белая колокольня.— Город на широкой веселой равнине.— Около самого горы песков. Приятное место.— У въезда в город пруд.— Строение бедное. Городничий, почтмейстер и скакун на дрожках, коим я поручил поклоны Якушкину, Черкасову и Муравьеву.

Ялуторовск — сл. Бешкильская. Песок сыпучий мысами.— Березовые кусты и рощи. Метель песку.— На 15 версте подстава в деревне Русский Синчуг.—

Прекрасный луг. Несколько курганов; на одном мельница ветряная.

Сл. Бешк. — Исетская. Обед. Глупая ссора за столом. Не возвратиться ли мне? Ошибка. *Regret inconsolable* *.

Исетская — Боровлянская. Характер степной природы. Необозримое поле с прелестными рассеянными рощами. Переезд и мост через Исеть, построенный для вел. князя. А в. к. и не показался. Равнина, усыпанная мельницами. — У смены исправник. Черкасов. Якушкин один. Муравьев, женатый на воспитаннице Бранта, совет. в Бухтарме. С Тизенгаузеном, который завел свой дом. Черкасов один. Янтальцев. Соболевский. — Часть дороги песчана.

Боровлянский завод — Слатковская. Боровл. завод без действия 8 лет. Вся часть дороги до подставы 15 верст песчана. — Столбы по дороге, начиная от Тюмени. — Треугольные загородки в Курганском уезде. Конец пескам. — Остальной переезд сонный до Кургана. Свидание с Нарышкиным.

6. Троицын день. Курган. У меня Розен. Его изломленная нога. Необходимость съездить в Тобольск. Свидание с Нарышкиною. Ее болезнь с августа по конец зимы. Черты смерти. Муравьев: его дочь. Она в Иркутске. — Якушкин на лодке. Муравьев женат на воспитаннице Бранта. — Работы в Чите: мельницы ручные, земляные; точность в исполнении. Лепарский комендант добрый и строгий. — Лорер, Бригген, Лихарев, Назимов, Фохт, доктор. Досадно до отчаяния, что не остановился в Ялуторовске. Дом Нарышкина, купленный и перестроенный: гостиная с двумя кирпичными печами, в ней фортепьяно и рисунки (голова Велизара, голова Мадонны). — Кабинет: семейные портреты над софою,

* Неутешное сожаление.

портреты отца и матери, портреты Дундуковой-Корсаковой и Муравьевой. — Угольная комната. Библиотека. Приемыш девочка, которую хотели продать. — На переезде из Кургана в Веденское та же природа и те же виды.

Веденское — Чинеева. Те же виды. Много песку.

Чинеева — Островня. Большие березовые и сосновые рощи по самой дороге попеременно. Песок и чернозем. Крестьяне на дороге в хорошей одежде. — Прекрасная чистая равнина, усеянная березами.

Ветер гуляет. Мельницы на равнинах. — Подстава. — Чудная равнина. — *Les avenirс reveillent une id   triste **.

Островня — сл. Воскресенская. Те же места. Поля между прекрасных березовых рощ. Колья по дороге. Большая деревня с худыми избами, похожими на чухонские. — Равнина начинает становиться мало-помалу волнистою; мы опять приближаемся к Уралу. — Дорога усыпана хрящом. Слобода Воскресенская. Большая деревня с каменною церковью. Обед.

Сл. Воскресенская — Чумляцкая. По обеим сторонам песок. Полстанции с адъютантом Перовского. — Разговор за столом о ссылочных и поляках. — У меня в дилижансе Юрьевич. — Шли пешком. — Ночевали в Чумляцкой. Мой ночлег у дьякона.

7 июня, понедельник. Переезд из Чумляцкой в Миасский завод. Первые две станции писал письма, потом спал. — Изменение в видах; заметно некоторое волнение грунта; примета гор Уральских. Озера. — Стада в воде. Часто тростниковые острова у берегов. Зеленые низкие берега.

Челябинск. Бедный городишко. За Челябинском чувствительны горы. — В 15 верстах от Челябинска

* Будущее пробуждает печальную мысль.

подстава. Киргизские кибитки. Башкирские кони и кумыс.

Ям Токтубаевский. Обед. Калмыцкая красавица. Травники. Вид отдаленный на Урал.

Кондравинская *станица*. Вид прекрасный на озеро. Спускался — с горы и на горы. — Проехав *станицу*, вид на передовую цепь Урала.

Проезд через Миасский завод. Прибытие на Златоустовский. Меншенин. Аносов. Ахматов.

8 июня. Осмотр при восходе на гору. Осмотр производств. После обеда у пастора и у одного из колонистов. Чай у Ахматова. Стрельба в карты. Письмо к государю.

9 июня, *середа*. Переезд из Златоуста в Верхнеуральск. 1. От Златоуста до Сулеймановской. С Аносовым и Меншениным в тарантасе по россыпям. Царево-Александровск с монументом Александру. Въезд на Урал. — Обедали в башкирском кантоне. Кантонный начальник и его три жены. Медведь. Мечеть и муецин. Обед в кибитке. — В этот день проехали весь Урал от высочайших гор до последних перевалов. Золотые россыпи. Лиственница и береза по горам. Прекрасный вид на горы. Справа через широкую равнину видать колыбель реки Белой. Озеро с лесистым одним берегом и с голым другим. Полуостров. Лиственница и береза. Башкирцы. Верхнеуральск. Бедный городишко.

10 июня. Переезд из Верхнеуральска. Начало степи. Конвой. Спасская крепость. Прекрасное впечатление степи: необъятность, зелень, по всему пространству пение птиц. Облака. — Пост сторожевой. Инвалидные казаки. — Магнитная *станица*. Слева отдельные горы за Уралом. — Справа на горизонте голубая гряда гор. Вероятно, Губерлинские горы в большом отдалении. Дорога ровная, усыпанная мелким хрящом. Два ряда кольев [..?] — Обедали

в Сыртинской с ужасным множеством мух. Ночевали в Таналыкской с великим множеством тараканов. Степь, прерываемая возвышениями, покрытыми травою. В одном месте к голым горам примкнуло несколько прекрасных березовых рощ. Огромный камень посреди равнины, как вершина погребальной горы. Около вечера теплее и [..?]

11 июня. Переезд из Таналыкской до Ильинской.

В. к. верхом. Кочевье киргизских пастухов. Обедали в Орской крепости. Комендант [..?] Лисовский. Полковник Жемчужников. Умные распоряжения Перовского. Три дистанции. Данилевский, Ган и Жемчужников. Партия казаков. Belle tenue*. Дорога вся в порядке. Весьма замечательный вид на горы. Между Харарскою и Губерлинскою как будто в малом виде большие горы со всеми их деталями. Но ни куста, ни капли воды. Все покрыто ковылем и пусто. Взмывавшаяся и окаменевшая пустыня.— Чудный вид с высокого пункта, который я срисовал. Спуск постепенный между нижними излучистыми каменными холмами, составляющими цепь. Дно сей долины — дорога. В одном месте ключ перебежал через дорогу. Замечательный характер Оренбургской губернии. Хлебопашество Челябинского уезда. Богатство руд и золота Златоустовских заводов. Скотоводство башкиров. Переход к кочевому. Киргизы. Соль. Азия. С ручьем соединяются другие. На низких берегах его кусты. Разветвляется и вьется. Долина шире и поворачивает вбок вместе с ручьем, который вливается в речку. Snevrefeuille**, потом ольха, разный кустарник. Божье дерево по берегам реки. Серебристый тополь. Вяз. Сороки. Наконец горы понижаются.— Широкий бассейн, поперек кое-

* Прекрасная выправка.

** К о з и й л и с т — кустарник.

го дорога. Прелестный вид на станцию Губерлинскую. Губерлинская крепость между слиянием двух речек Чебакли и Губерли. Отсюда широкая долина посреди тех же гор. Пирамиды. Горы, как лев или крокодил, лежащие поперек, по спине их дорога. Камни, как бородавки. На песке ковыль. Песок в виде пирамид. Переезд к Подгорной крепости по дну широкого бассейна долиною. — Этим широким бассейном дорога идет до самой станции и ночлега Верхнеозерной крепости. — Дурная ночь, половина в дормезе, половина в избе.

11 *. Переезд из В. Озерной в Оренбург.

Крутой спуск при выезде. Степь ровная, но более плодоносная; разнообразие трав. Каланча. — Прекрасная дорога по крутому берегу Урала.

Приезд в Оренбург в три часа пополудни. Тотчас с Далем на берег. Роща за Уралом. Хивинцы. (Падишах с падишахом. Русь и Хива. Две матери. Видим розгу, а не видим труда.) Гевлич. Ханыков. Манцуров. Вечер с Далем. *Бал.*

13. Пребывание в Оренбурге. Болезнь. Пьявки. После обеда азиатский праздник. Киргизское кочевье (кибитка). Диван. Решетка. Стрелы или унины. Круг. Кошма или войлок. Скачка вокруг холма. Скакали лошади некованные и некормленные, без овсов, без седел, в шлеях. Две скачки. Выигрыши. Верблюды, лошади, кафтаны. Скачка на верблюдах. Пляска башкирская. Борьба башкир с киргизами. Музыка башкирская. Музыкант: курайчи; инструмент: курай или чеблузга. Юрлаучи — певец. Баксы или колдун киргизской; змеи, прыганье на саблю, исступление. — Чай в кибитке. Театр в галерее. Возвращение домой и разговор с Далем.

* Явная описка — вместо цифры 12.

14. Пребывание в Оренбурге. Целый день дома от болезни. В. к. в Илецкой Защите. Посещение загородного дома. У Далевой жены. Соколова, институтка Патриотического института. Письма.

15. Переезд из Оренбурга до Уральска. В. князь в закрытой коляске. Я вместе с Перовским, сначала в тарантасе с Далем. Ссора с великим князем. Приезд в половине первого.

РИСУНКИ В. А. ЖУКОВСКОГО,

СДЕЛАННЫЕ НА УРАЛЕ

С 22 МАЯ ПО 14 ИЮНЯ 1837 ГОДА

(с указанием шифра хранения в фондах отдела графики
Государственного Русского музея в Ленинграде)

- Р-23454 — Воткинский завод
- Р-23455 — Пермь
- Р-23456 — Пермь
- Р-23457 — Екатеринбург, 27 мая
- Р-23458 — Невьянский завод
- Р-23459 — Нижнетагильский завод
- Р-23460 — Нижнетагильский завод
- Р-23461 — Нижнетагильский завод
- Р-23462 — Екатеринбург, 30 мая
- Р-23463 — Тобольск
- Р-23464 — Тобольск
- Р-23465 — Тобольск
- Р-23466 — Чумляцкая
- Р-23467 — Уральская гора
- Р-23468 — Уральская гора
- Р-23469 — Вид на Уральск (?)
- Р-23470 — Гора Урал (?) за 5 верст
- Р-23471 — Златоустовский завод
- Р-23472 — Златоустовский завод
- Р-23473 — Златоустовский завод
- Р-23474 — Златоустовский завод
- Р-23475 — Вид на Таганай
- Р-23476 — Вид на Златоустовский завод
- Р-23477 — Гора Урал (?)
- Р-23478 — Станица Сыростанская
- Р-23479 — Вид с дороги
- Р-23480 — Уральские горы
- Р-23481 — Начало степи у Верхнеуральска
- Р-23482 — Магнитная
- Р-23483 — Станица

- Р-23484 — Берег Урала
- Р-23485 — Березовская
- Р-23486 — Тереклинская
- Р-23487 — Орская крепость
- Р-23488 — Хабаровский отряд
- Р-23489 — Губерля
- Р-23490 — Губерлинская крепость
- Р-23491 — Вязовский редут
- Р-23492 — Оренбург

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Неопубликованные дневники С. А. Юрьевича хранятся в Центральном государственном архиве Октябрьской революции и социалистического строительства (ЦГАОР) — ф. 1132, оп. 1, ед. хр. 32. Там же письма к жене (ед. хр. 230).

2. Письмо В. А. Жуковского матери наследника Александре Федоровне от 10 мая 1837 года из Ярославля.

3. Шифр хранения в отделе рукописей ГПБ: ф. 286, оп. 1, № 9а—9е.

4. Письма к Александре Федоровне напечатаны в «Сочинениях В. А. Жуковского», изд. 8-е, том 6 (СПб., 1885). Далее указывается только дата письма.

5. Письмо от 22 июня.

6. Его шифр в ЦГАОР: ф. 678, оп. 1, ед. хр. 287. Впереди дневника приплетена «Инструкция для путешествия, врученная государем мне самому и для меня в особенности», как озаглавил ее наследник. Копия этой инструкции есть и в дневнике Юрьевича.

7. Письма А. И. Герцена к Н. А. Захарьиной здесь и далее цитируются по кн.: «А. И. Герцен в Вятке» (Киров, 1940), поскольку в ней приведены и другие материалы о пребывании Герцена в вятской ссылке.

8. Письмо С. А. Юрьевича к жене от 23 мая. Далее даются только даты писем по публикации их в журнале «Русский архив» (1887).

9. Взято из записок краеведа В. Ф. Бердникова, хранящихся в фондах музея истории Воткинского завода.

10. Фамилия Швецова упоминается в дневнике поэта еще в самом начале поездки — 12 мая, во время пребывания в Суздале. Может быть, это однофамилец, но не исключена возможность, что хозяева заводов поручили Фотию Ильичу присматриваться к тому, как принимают высоких гостей в других городах.

11. Письмо от 24 мая.

12. Письмо от 26 мая.

13. В последующие годы он стал видным деятелем горной промышленности и писался уже Пермиким. Но по документам Уральского горного правления он и его родные проходят как Пермитины (Пермитиновы), что, кстати, дает основание предполагать их коми-пермяцкое происхождение.

14. Переписка эта обнаружена А. Е. Ферсманом в ЦГИА СССР, ф. 504. Цитируется по неопубликованной его рукописи «Люди камня», хранящейся у Е. М. Ферсман.

15. Подробно о «Деле Коковина» рассказывается в книге И. Шакинко «Загадка уральского изумруда» (Свердловск, 1980).

16. Письмо от 3 июня.

17. Статья, подписанная астронимом* (автор — редактор журнала П. А. Плетнев), «Путешествие В. А. Жуковского по России» («Современник», 1838, т. 12, с. 5—22) не оправдывает ожиданий, обещанных заглавием. Основную часть ее (с. 10—22) занял рассказ о знакомстве Жуковского с Милькеевым.

18. Дуганов Р. Рисунки писателей. «Наука и жизнь», 1968, № 10.

19. Иезуитова Р. В. Жуковский в Петербурге.

Л., 1976, с. 200. В этой весьма содержательной и интересной книге немало страниц посвящено графическому наследию поэта.

20. Дуганов Р., с. 96.

21. Письма от 28 мая.

22. Раев В. Е. Воспоминания из моей жизни. Отдел рукописей Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина. М. /6498/26 и 2в (оригинал) и 46 (писарская копия).

23. Петербургские гости, в том числе и Жуковский, незадолго до этого (в ноябре 1836 года) имели возможность увидеть первую в России пассажирскую железную дорогу, соединившую Петербург с Царским Селом. Но она была построена иностранцем Ф. Герстнером, и ходили по ней английские паровозы.

24. Письмо от 29 мая.

25. Письмо от 29 мая.

26. Об этой истории см. заметку «В поисках волюности» в газете «Тагильский рабочий» за 29 апреля 1971 г. и главу «Его высочество» в книге Б. Федоровой «Крепостной Тагил» (Свердловск, 1940).

27. ЦГИА, ф. 1101, оп. 1, ед. хр. 482.

28. ЦГИА, ф. 1101, оп. 1, ед. хр. 481.

29. В «Очерках поповщины» П. И. Мельникова-Печорского (Полное собрание сочинений, изд. т-ва А. Ф. Маркса, том. 7, 1909) на с. 160—176 подробно рассказывается история борьбы уральских старообрядцев за свои права. Упоминается там и Егор Китаев.

30. Беляев А. П. Воспоминания декабриста о пережитом и пережитом. 1805—1850. (СПб., 1882, с. 309—310). О связях В. Ф. Федорова с декабристами см. также в кн.: Любарский А. Слово дружбы (Таллин, 1956, с. 170—171).

31. Пространнейшее письмо Милькеева Жуковскому с рассказом о себе напечатано в статье «Путешествие В. А. Жуковского по России» в журнале «Современник» (1838, т. 12, с. 12—20).

32. Большая литература о Е. Милькееве обобщена в статье о нем в кн.: Постнов Ю. С. Русская литература Сибири первой половины XIX века (Новосибирск, 1970, с. 326—341).

33. «Рукопись тобольского мещанина Ф. Ширкова «Извлечение из проекта добродетели», поднесенная великому князю наследнику Александру Николаевичу», хранится в ЦГАОР, ф. 673, оп. 1, ед. хр. 109.

34. Есть такая редкая ныне книжица: Егор Растиоргуев «Посещение Сибири в 1837 году его императорским высочеством государем наследником цесаревичем» (СПб., 1841), представляющая собой образец подхалимски верноподданнического суесловия. Там приведено это стихотворение Чижова из «Русского инвалида» и раскрыто его авторство.

35. Цитируется по богатой материалами статье Н. Дубровина «В. А. Жуковский и его отношение к декабристам» («Русская старина», 1902, апр., с. 45—119).

36. Письмо жене от 23 мая. П. Бартенев в примечаниях к публикации писем в «Русском архиве» (1887) сообщает, что за время путешествия на имя наследника было подано около 16 тысяч прошений. Опись части из них хранится в ЦГИА (ф. 523, оп. 1, ед. хр. 2324).

37. Письмо от 24 июня.

38. Записки декабриста Н. И. Лорера (М., 1931, с. 173). Уральским годам ссылки посвящены страницы 168—181.

39. Записки декабриста Н. И. Лорера, с. 174.

40. Барон А. Е. Розен. Записки декабриста.

(СПб., 1907). Глава 12-я «Записок» (с. 195—213) — «Поселение в Кургане».

41. Письмо от 24 июня.

42. Письмо от 9 июня.

43. Письмо от 9 июня.

44. Письмо от 15 июня.

45. Отчет Императорской Публичной библиотеки за 1884 г. (СПб., 1887). Приложение.

46. Письма от 10 и 6 мая.

47. Письмо от 9 июня.

48. Даже Юрьевич отметил это в письме жене: «Жаль, конечно, что Жуковский не попал в число награжденных» (письмо от 6 июля).

49. Письмо от 22 июня.

50. «Современник», 1838, т. 12, с. 5.

СОДЕРЖАНИЕ

Клады бабушкиных сундуков	3
Под знаком Золотого ключа	22
Вокруг Мамина	49
Забытая дружба	63
Реконструкция одной судьбы	80
Дело Липранди	101
Приключения «Мадонны»	138
Уральский вояж поэта	177
Примечания	266

Курочкин Ю. М.

К93 Уральские находки. Свердловск, Сред.-Урал. кн. изд-во, 1982.— 272 с. с ил., 8 с. вкл.

В пер.: 70 коп.

Рассказы о краеведческих поисках и находках, связанных с «сокровищами» старинного сундука, масонской ложей Золотого ключа в Перми, неопубликованными письмами Д. Н. Мамина-Сибиряка, судьбой писательницы Елизаветы Гадмер, историей тагильской «Мадонны», путешествием по Уралу поэта В. А. Жуковского.

К 20904—037—5000000000
M158(03)—82

ББК 63.3(2Р36)
9(С17)

ИБ № 937

Юрий Михайлович
Курочкин

Уральские находки

Редактор Л. Г. Золотарева. Художник В. Ф. Дьяченко. Художественный редактор О. И. Журавлева. Технический редактор Л. М. Голобокова. Корректоры И. Ш. Трушников, И. П. Кирсанова.

Сдано в набор 02.06.81. Подписано в печать 24.12.81. НС 12331. Формат бумаги 70×100^{1/32}. Типографская № 1. Академическая гарнитура. Высокая печать. Усл. печ. л. 11,3. Усл. кр.-отт. 12,3. Уч.-изд. л. 11,6. Тираж 30 000. Заказ 281. Цена 70 коп.

Средне-Уральское книжное издательство, Свердловск, 620219, ГСП-351, ул. Малышева, 24. Типография изд-ва «Уральский рабочий», 620151, Свердловск, пр. Ленина, 49. Переплет № 4, форзац и вклейка отпечатаны в производственном объединении «Полиграфист», Свердловск, ул. Тургенева, 20.

ед.-
кла.

вя-
кой
мн.
ль-
он-
го.

236)
С17)

о.
ий
и-

1.
я
л.
к

к,
я
с,
-
-





Екатеринбург 30 мая

Ю. Курочкин УРАЛСКИЕ НАХОДКИ